

ВРЕМЯ ИМБ 87 1985



ЗИНОВИЙ ЗИНИК "ЭДИПОВ СТАЛИН"

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Одиннадцатый год издания

Выходит один раз
в два месяца

87
1985

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1985

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ДОРА ШТУРМАН
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН	ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала Juscwa Mischijew
в Западном Берлине Amsterdamerstr. 14
1000 Berlin 65

OCR и вычитка — Давид Титиевский, май 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

<i>Игорь ПОМЕРАНЦЕВ</i>	
Вы меня слышите?	5
<i>Зиновий ЗИНИК</i>	
Эдипов Сталин.	28
<i>Марк ГИРШИН</i>	
Развод	43

ПОЭЗИЯ

<i>Михаил КРЕПС</i>	
Миллион спектаклей.	94
<i>Татьяна ФИЛАНОВСКАЯ</i>	
Наступление возраста	102

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА

<i>Ефим МАНЕВИЧ</i>	
Новая эмиграция: слухи и реальность.	106
<i>Вера ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ</i>	
Супруги Горбачевы глазами журналиста	118
<i>Людмила АЛЕКСЕЕВА</i>	
Социалисты в советском подполье.	126
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
О либералах в советских верхах	142

ПОЛЕМИКА

<i>Шимон МАРКИШ</i>	
Куда прорвался Г.Свирский?	151
<i>Е. МАЙДАНИК</i>	
Как это делается.	160

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

<i>Надежда ЛЕВИНСКАЯ</i>	
Сага о вэлфере.	172
<i>Лев ТРОЦКИЙ</i>	
Почему они каялись.	192

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Читатели о журнале: мысли, оценки, суждения.	234
--	-----

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Художник и Вселенная.	242
Digest of this issue.	250



Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ?

Радиопьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сергей Горельский, переводчик и писатель, среднего
возраста

Нина, аспирантка, начинающая переводчица

Валерий Павлович, майор КГБ, среднего возраста

Володя, лейтенант КГБ

Борис Терентевич, полковник КГБ

Шаги по коридору. Открывается дверь.

Валерий Павлович. Ага, так вы уже здесь. Простите, я у Бориса Терентьевича задержался. О вас как раз говорили, Володя. Это ничего, что я так запросто?

Володя. Ну что вы...

Валерий Павлович. Так вы только-только диплом защитили? И какая же тема?

Володя. "Судопроизводство в творчестве Диккенса".

Валерий Павлович. "Холодный дом"? А кто руководил?

Володя. Чеботарева.

Валерий Павлович. Люда? Людмила Алексеевна? Бог ты мой, мы ведь с ней вместе кончали, лет так... сразу и не скажешь. Помню, сдавали зарубежку Добужанской, стояли вдвоем под дверью, и Люда сказала: "Ох, как боюсь я эту старую деву"... Тут дверь открывается: — Добужанская! — у вас она, наверно, уже не читала — высовывается и своим елейным голоском: "Может и старая, но не дева". *(Смеется)*. Теперь смеюсь, а тогда душа в пятки ушла. Ну, думали, пиши пропало. По гроб жизни не сдадим... Хорошее было время! Все тогда ключом било... На площади Маяковского ребята стихи читали. Ив Монтан на гастроли приехал...

Володя. *(Неуверенно)* Ив Монтан?

Валерий Павлович. Неужели не знаете? Да он для нас был, как для вас эти ... Панк Флойд.

Володя. Пинк Флойд?

Валерий Павлович. Да-да, сорри, сорри!.. Так Матвей Терентьевич сказал мне, что вы недельки через две-три в Минск, в нашу школу...

Володя. Да, вроде бы.

Валерий Павлович. А у меня, значит, приглядеться, присмотреться, приняться. Три недели, конечно, маловато. Но зато рутина не засосет как меня... Сажу тут днями у "Грюндига", кассеты слушаю. Работа, сами понимаете, сидячая ... вон брюхо какое наел *(похлопывает себя по животу)*, ведь когда-то — не поверите — был чемпионом "Буревестника" по прыжкам с трамплина... парил, знаете, в шестерке Союза был. *(Телефонный звонок. Меняет тон)* Слушаю!.. Да! Так точно, Борис Терентьевич. Буду через минуту. *(Кладет трубку)*. Вы меня, Володя, простите. Я вам сейчас пленочку включу, чтоб вы в курс дела входили, а вернусь — поговорим. Я ненадолго. *(Вставляет кассету)*. Вот здесь надо нажать, где "старт". Не робейте. Располагайтесь поудобней. *(Дверь открывается и хлопывается. Пауза. Вдох. Шаги. Шелест страниц. Невнятное бурчание. Скрип стула. Щелчок магнитофонной кнопки)*.

Магнитофон. May down across her with my face in her breasts and my hand on her. We lay there without moving. But under us all moved, and moved us, gently, up and down, and from side to side.*

(Останавливает. Прокручивает пленку вперед. Включает).

I lay down across her with my face in her breasts and my hand on her. We lay there without moving. But under us all moved, and moved us, gently, up and down, and from side to side.

(Останавливает. Прокручивает вперед. Включает).

Магнитофон-Сергей. ...Приглашали. Я ведь когда-то переводил одного из них. Точнее одну. А теперь случай представился, но я им не воспользовался...

Нина. Почему? Из-за нее или из-за ее прозы?

Сергей. Да нет, проза как раз ничего. Черно-белое кино. Англичане, не те, что в Индии или в Африке родились, а у себя дома, вроде и не заметили, что в языке еще другие оттенки бывают, цвета. Но иногда приятно... Открываешь книгу, а там, как в детстве, черно-белое кино. До слез трогает...

Нина. А почему же на встречу не пошли? *(Открывается дверь. В кабинет входит Валерий Павлович. Володя включает магнитофон)*.

Валерий Павлович. Ну как, не скучали?

Володя.. Я тут не совсем понял. Сперва какой-то англичанин говорил. Сцена какая-то любовная. И все одно и то же...

Валерий Павлович. Ну, Володя, как же так. Классику знать надо. Кто у вас курс по современной зарубежной литературе читал? Джапаридзе? Он Беккета знает. Даже статью о нем написал — "Отрава с приправой". А запись пьесы привез Сергею Юрьевичу Горельскому — это он там про цвет в языке импровизировал — Жан-Поль Сартр. Лично. В подарок. Лет так двадцать тому. Вместе с записью

* Я лег на нее, лицом на грудь, а рука на ее теле. Мы лежали, замерев. А под нами все ходуном ходило и покачивало нас мягко-мягко, вниз-вверх, с боку на бок. *(Прим. автора.)*

ми своих пьес. Сами понимаете, только себя дарить как-то нескромно. Вот какой он у нас, Сергей Юрьевич. На короткой ноге с лауреатами. Или вы, Володя, и о нем не слыхали?

В о л о д я . *(Застенчиво)*. Да нет, слыхал. Даже книгу его переводов читал — "Америка поэтическая". *(Пауза)*

Валерий Павлович. Так на чем вы остановились?

В о л о д я . На вопросе. Женщина *(неуверенно)*... или девушка спрашивает, отчего он на какую-то встречу не пошел.

Валерий Павлович. Не на "какую-то", Володя, а на встречу английских и советских литераторов. В Центральном Доме литераторов. В прессе освещалась. Год назад. *(Открывает ящик стола)*. Посмотрите-ка . *(Бросает на стол газеты)*. Заголовок-то какой! "Из русских делают пугало!" А вот и его фотография, этого Дэвида... Дэвида... Да вы его наверняка читали. Он из рабочей семьи, симпатяга. Ему б кинозвездой быть, или, на худой конец, телезвездой.

В о л о д я . *(Недоверчиво)* Так и сказал: "Делают пугало"?

Валерий Павлович. А что, слово как слово. Я собственными ушами слыхал. В пресс-центре сидел. Встречу, кстати говоря, Борис Терентьевич курировал. Выступал как член правления Общества дружбы. Этого Дэвида он-то и расшевелил. Перед тем, как предоставить слово английскому гостю, самокритично заметил, что, мол, мы еще плохо знаем Запад, а незнание порождает страх. Ну, так этот Дэвид решил перещеголять Бориса Терентьевича в самокритике. Он-то свободный писатель из свободной страны и просто обязан свое правительство лягнуть. А Борису Терентьевичу за этот заголовок звездочку подбросили. Он ведь прежде здесь, за этим столом сидел. В этом самом кабинете. Так на чем вы там остановились?

В о л о д я . На вопросе...

Валерий Павлович. А кстати, Володя, отчего Горельский, по-вашему, не пожелал в ЦДЛ прийти?

В о л о д я . Кто его знает. Может звезд там таких, как Сартр, не было...

Валерий Павлович. Но это же делегация из Англии! Там властителей дум и пророков не бывает. Там всяк на свой салтык. Это ж вам не стадо французское. Ладно, Володя, врубайте, *(включает)*.

Магнитофон-Сергей. Времени не было. Срок пришел книгу сдавать. Издательство нервничало. А мне еще нужно было со специалистами проконсультироваться — я Даррелла переводил.

Нина. Лоренса?

Сергей. Какой там... Джералда, конечно. Мир животных надежней. Никаких идей. Ну, да ладно. Давайте-ка, Нина, посмотрим, что... *(Щелкает кнопка. Тишина)*.

Валерий Павлович. Врет, конечно. Время тут ни при чем. Но и вы не правы, что, мол, писателями второй лиги побрезговал. Курите? Кент. Американские... Ну ладно, а я закурю. *(Щелкает зажигалкой)*. Не пошел, чтоб отчет потом не писать. Нам. Про разговоры в буфете с иностранными гостями.

В о л о д я . Но разговоры можно прослушать и на пленку записать.

Валерий Павлович. Володенька! На пленку все пишем, голубчик. Дело ведь не в тарах-барах. Ну что там они интересного сказать могут? Ну, по американцам пройдутся. Мол, никакой культуры. Мол, Франкенштейна себе на голову выходили. Хотя на самом деле просто завидуют. Гонорарам. Их только пальцем туда помани. На кой нам эти жидкие бритты? Вот Горельский нам нужен. Чтоб отчет написал и подписал. И дату поставил.

В о л о д я . Но почему Горельский? Он вроде не диссидентствует. Держится в сторонке.

Валерий Павлович. Володенька! Дело на человека заводить нам незачем. Крикунами и психами пусть жлобы из "оперативного" занимаются. Нам не дело, а сам человек нужен. Мы хотим, чтобы он был наш. Мы хотим ему помочь стать нашим. Вы ведь сами помогали нам в этом, когда в университете учились. Только у вас был факультет, а у нас полстолицы. Москва поэтическая, прозаичес-

кая, драматургическая... Да, а чтоб человека сделать нашим, нужно его знать, даже лучше, чем он сам себя знает. И про него. Даже любить в каком-то смысле... Вот я Горельского люблю, правда, без взаимности. Пока что... Вот Борис Терентьевич мне вашу папочку дал. *(Шелест бумаги)*. Давайте-как наугад возьмем. О ком это вы? Да не важно. *(Читает)*. "Интересуется спортом, хотя сам не тренируется..."

В о л о д я . Да это же старая информация! Еще на втором курсе...

Валерий Павлович. "...Любит пиво. Выпив, говорит про футбол. Других интересов нет". *(Оживленно)*. Можете сейчас что-нибудь добавить.

Володя. Вот так сразу?

Валерий Павлович. Ну, тогда я добавлю. Послушайте, Володя, что он о вас пишет: "Вежлив, иногда даже угодлив. Предпочитает слушать. Со мной всегда заводит разговоры о спорте. Любит пиво. Часто зовет в пивную, даже угощает" *(Пауза)*

Володя. Я думал...

Валерий Павлович. Врубайте!

Магнитофон - Сергей. ...Вы там принесли. Кому хотите перевод предложить?

Н и н а . Еще не знаю. Я ведь только начинаю. Может, это вовсе не годится. Я потому и принесла вам показать. *(шорох бумаг)*. Вот.

Сергей. *(Шорох бумаг)* "Письмо из Франции лежало в верхнем ящике комода". Гм-м-м. Дайте-ка мне оригинал, Ниночка. *(Шорох бумаг)*. Ха-ха-ха!

Н и н а . *(Обиженно)*. Это вовсе не юмористический рассказ, Сергей Юрьевич!

Сергей. *(Сквозь смех)* Простите, ради Бога! Вы не виноваты. Ну откуда же вы могли знать, что "письмо из Франции" на английском жаргоне означает "презерватив". *(Оба смеются)*.

(Валерий Павлович нажимает на "стоп").

Валерий Павлович. Это их первая встреча. Одиннадцать месяцев назад. С тех пор встречаются каждый чет-

верг. Она учится в аспирантуре. Чуть постарше вас. Муж, ребенок. *(Щелкает зажигалкой. Закуривает.)* Там дальше поинтересней будет. Я вам сейчас включу. А сам в сторонку сяду. *(Прокручивает пленку вперед)*. Мне надо заметку в нашу стенгазету написать. Ко дню чекиста. Видели, на первом этаже целая простыня на стене висит, "Дзержинец". Вам еще тоже предстоит. *(Включает. Уходит в дальний угол кабинета)*.

Магнитофон - Сергей. Ну, а что такое творчество? Или что такое быть творческим человеком? Это растерянность. Это готовность ко всему. Это незнание истины. Тот, кто определяет, что истинно, тот не художник. Потому что художник, наоборот, ожидает, когда истина махнет ему рукой, выкажет себя, крикнет: "Вот я!" Нельзя хватать истину за уши и насиловать. *(Пауза)*. Можно, конечно. Но ничего из этого, кроме насилия не выйдет.

Н и н а . Тоша смотрит на меня так, когда я раздеваюсь. Ему все интересно. У него ведь такого нет. И на бубушку смотрит. Он ей в первое же утро, когда приехали, сказал с гордостью, что у мамы сиси больше. *(Пауза)* А ты бы хотел, чтоб у меня грудь была меньше? Может, мне операцию сделать? Ты бы меня тогда больше целовал? Почему ты не целуешь меня каждую минуту? *(Пауза)* Потом — это за "потом", а не за "сейчас". *(Пауза)* Уже не нагонишь. Это же не пропущенные уроки. Ты и так уже столько лет потерял. Почему ты не нашел меня, когда я была девчонкой?!

Сергей. Я никак не могу встретиться с тобой. Назначаю свидание... и не прихожу. Или прихожу и не узнаю себя. *(Пауза)* Со стороны вижу себя элегантным, артистичным, легким, а на самом деле тяжеловесен и медлителен. *(Пауза)* Это и есть не встреча с собой. И потому что тела не чувствую, все время натыкаюсь на что-то. Самое унижительное, когда ни с того ни с сего ударяешься вдруг коленом о... стол, за которым сидишь. От унижения чуть не плачу.

Н и н а . Я с детства мечтала вырваться из дому. Ты помнишь эти плакаты по найму рабочих? "Вас ждут стройки Сибири!", "Комсомольцы! Превратим Среднюю Азию в

сад!". Но туда я боялась. Ты же знаешь, что я не переношу ни холода, ни жары. В классе шестом приглядела вербовку в Крымскую область. Решила, что там море, должно быть, близко. Я же не знала, какие там пыльные степи, и чужая татарская земля. Русские там не приживаются. Пьют да с ума сходят... Так на этих плакатах изображали девчат, курносых, в платочках и в ватниках. Я приходила домой, повязывала голову платочком, надевала старую отцовскую куртку и смотрела на себя в зеркало, в профиль, как на плакатах.

С е р г е й . К несчастью, я старше. *(Чиркает спичкой. Закуривает)*. И это вовсе не значит, что умнее. Это миф — что старость мудра. Не верь. Старики мелочны, нетерпимы и злобны. Это от слабости. Только сила может позволить себе быть мудрой. Чем слабее, чем неуверенней в себе человек, тем необходимей ему победы. На каждом шагу. Вот, я нашел лучшую скамейку в парке! Вот это пиво — и никакое другое — самое лучшее. *(Пауза)* Тогда начинаешь верить, что ты победил жизнь, что ты делаешь все правильно, что твой вкус абсолютен. *(Пауза. Затягивается)*. Мы, беда наша или счастье — суди сама — родились в стране, которая всегда побеждает. Как по мне, беда. Были бы сильными, так терпели бы — хоть изредка — поражения. И с людьми точно так же. Каждый выбирает себе такую иерархию, чтобы занять верхнюю ступеньку. Иерархия буржуа — деньги, аристократа — происхождение, ремесленника — ремесло. Когда ни черта в тебе нет, то в ход идет раса, народ, страна, континент. Чем бесталанней человек, тем безличностней выбранная им иерархия. Чтоб вместе с кругом, группой, слоем быть выше других. *(Пауза. Затягивается)*. Я с детства слышал, что наши прежние вожди были яркими личностями, не то что нынешние. В юности нашел их книги. До чего же убого, почти безграмотно. Как ими могли восхищаться?.. Ничего, ровным счетом ничего, кроме инстинкта власти. *(Пауза)* Власть инфекционна. Все мои сверстники заражены. Эту жажду власти — я о диссидентах — они называют чувством долга или, там, ответственности. О Боже, если бы каждый о себе

думал, лично о себе, и ответственным был только за себя, тогда б и жизнь получилась. А если ни таланта у тебя, ни власти, то виновные под рукой: страна, режим, эпоха, цивилизация. Мол, в другой эпохе или стране, я бы... меня бы... *(Пауза)*. Не знаю, замечала ты или нет, что фанатики, настоящие дети средневековья, отстаивают в нашем столетии идеалы просвещения: свободу, равенство, справедливость. А правнуки Просвещения по духу и по крови, рабы знания, ныне превозносят средневековье. Все вверх тормашками. *(Затягивается)*, Так что когда мои сверстники — твои еще итогов не подводят — что-то хвалят или ругают, будь настороже. Они о себе говорят. Их оценка чего-либо или кого-либо — это оценка себя. Прости мне этот тон умудренного опытом человека. Я ведь тоже сверстник моих сверстников.

Н и н а . Я себе неприятна сейчас физически. Потому что прямо с поезда пришла. Липкая, как будто гарью пропиталась. Ты почувствовал, когда целовал, что я липкая? Гарь с потом. Тошу оставила у стариков. *(Вздыхает)*, У тебя есть сигареты? *(Чиркает спичкой. Закуривает)*. Спасибо. Просто блаженство... Они поначалу держались, но в последние три дня шла война, на износ и на измор. Мама начала. Мол, живу не по-человечески, и брак у меня с гнильцой, и все из-за меня, а муж мой просто ангел. И одежда моя безвкусна и прическа вызывающая. Ты, — спрашивает, — нарочно такой гадкой хочешь быть? *(Затягивается)*. Я долго держалась, но на Тоше сломалась. Мама знала, куда бить. "И какая же ты мать?! Да если б я в суд подала, то Тошу бы себе в два счета отсудила!" *(Пауза)*. А Тоша накануне простудился. Ну, так она сразу виновную нашла — меня. Я расплакалась, собираться начала, чемоданы укладывать. Мать тоже в слезы. Прямо завывала. "У меня давление из-за тебя подскочило... ты меня в гроб сведешь! Хорош подарок от доченьки к шестидесятилетию!" *(Пауза. Затягивается)*, А отец, даже в сторону мою не глядя: "Я же говорил, она бессердечная, для нее родители хуже врагов". А мне, думаешь, просто огрызаться?.. Они же мои родители! В матери это всегда было: глубокое неуважение ко всем на све-

те. Потому ей ничего не стоило унизиться перед кем угодно... Для нее каждый — раньше хоть я была не в счет — или дурак, или подлец, или мошенник. Я все это видела еще девочкой и чувствовала, что раз мама с кем-то такая, значит и со мной когда-нибудь такой будет. *(Пауза)*. Добились своего, в конце-концов. *(Пауза)*. Тошу им оставила. Он со мной рвался, плакал, как я только выдержала. Но они бы мне не простили, если б своего не добились. У них теперь никого в целом свете, кроме внука. А Тоше взятку пообещала: механический хоккей, когда вернется. Он смирился, но совсем разболелся, и болезнь эта — копия моих отношений с родителями. Теперь счастливы. Нянутся с ним, холят, они теперь хорошие, преданные, заботливые. Не то что неблагодарная дочь! И жалко их... *(Затягивается)*,

С е р г е й . Я осторожен. *(Пауза)*. Таким родился. Но вечно попадаю в такое положение, что приходится быть смелым. Против воли. С самого детства. Мне было восемь... Пошел на лыжах кататься за городом — мы тогда в провинции жили — но все перепутал, вскарабкался не на ту гору, оттолкнулся — и вниз. А это был трамплин для солдат. Я чуть со страху не умер, когда летел. Потом вся школа меня героем считала. Это ужас быть героем... А когда в институте учился, влюбился в преподавательницу. Скандал... Ей пришлось уволиться... Но про главное никто не знал. Я тоже. Она была сексуально просто бешеная. А до этого женщин у меня не было. Я не знал, что такое фригидная, нормальная или бешеная... Страдал, изничтожал себя... Она после замуж за африканца вышла, уехала в Гвинею. В письмах одно и тоже писала: про коршунов над Конакри. Они там, как у нас голуби. Свихнулась на этих коршунах. Я уже потом только "нет" сказал. Не желаю быть героем.

Н и н а . А я?

С е р г е й . Что-я?

Н и н а . Какая? Нормальная, бешеная, фригидная?

С е р г е й . Ты... любимая. *(Пауза)*.

Н и н а . Мы все время говорим, а Тоша все в лицах изо-

бражает. Играет в Париса и Ахилла. Парис крадется, как охотник, с трудом натягивает тетиву, а Тоша уже Ахилл. Шагает медленно-медленно, так чтоб пятка на мгновение повисла в воздухе. А Тоша разрывается: он и Парис, и стрела, и Ахилл... А теперь мама приехала и рассказала ему, как дедушка умер — я ведь на похороны его не брала. Ехал на велосипеде по парку и вдруг упал замертво. Сердце разорвалось. *(Пауза)*. Тоше так понравилось. Он теперь играет в велосипедиста, по всей квартире ездит, по сторонам смотрит, языком прицокивает — путает лошадь и велосипед. А потом резко падает, но так, чтоб не ушибиться. Я смеюсь, как дура. Но это правда смешная смерть. *(Пауза)*.

С е р г е й . Как у поэта сказано? "Мятежник то есть деспот". *(Пауза)*. Диссиденты мятежники.

Н и н а . Это ГБ решает, кто диссидент.

С е р г е й . Не скажи. А все эти группы, комитеты, комиссии...

Н и н а . Ну и мятеж! Только и делают, что на конституцию ссылаются. Да они просители.

С е р г е й . Здесь просят. На Западе просят. Живут там на подачки.

Н и н а . Кто как. А мы здесь не на подачки живем? Вот откажет тебе издательство... А диссидентов куда больше на востоке, в лагерях, чем на западе.

С е р г е й . Знали, на что идут... *(из дальнего угла кабинета подходит Валерий Павлович и останавливает пленку)*.

В а л е р и й П а в л о в и ч . Предложи ему по радио все это сказать, так ведь откажется. Имя пачкать не захочет... А как вы думаете, Володя, отчего Горельскому диссиденты не по нраву?

В о л о д я . Может, кишка тонка?

В а л е р и й П а в л о в и ч . Не без этого. А если у кого не тонка, так не прощает и... завидует. Он ведь и славы хочет и шарахается от нее, потому что слава обязывает. В нем уже столько всего накопилось, на сто интервью хватит... он ведь честолобец, но интервью давать страшно, так он... Вот, послушайте. *(Включает запись)*.

С е р г е й . *(Воспаленно)*... Чем расплатятся за три строчки в "Монд" или в "Тайм". Нет жанра ниже, чем интервью. Допрос с пристрастием.

Н и н а . Не знаю. *(Язвительно)*. У тебя, наверное, большой опыт по этой части.

С е р г е й . При чем здесь опыт? Просто голова на плечах!

Н и н а . Ой худая, ой худая, голова тифозная... *(Пауза)*. Когда я с тобой — это моя жизнь. Я раньше всегда кому-то принадлежала: родителям, друзьям, университету, сыну. А вот теперь у меня своя жизнь. И я не хочу ее терять. Мне просто скучно теперь, когда я не в этой комнате. А с другими людьми теперь кто-то за меня говорит. Я киваю головой, поддакиваю "как интересно", "да что вы говорите"! Раньше я бы глаза, может, выцарапала за глупость или пошлость, а теперь улыбаюсь. Как с гуся вода. Любовь — это когда иначе видишь и слышишь. *(Пауза)*.

С е р г е й . Знаешь, он даже когда среднего поэта переводит, то все равно гениально. Так что пусть и переводит только гениев. Потому что... Ну, возьми всю его поэзию. Это словарь русского языка. Но составленный не по алфавиту, а по переключке, по ауканью слов. "Самурай", а рядом "самовар". Значит, у самовара раскосый взгляд, а самурай раскален и кипит — сразу же сдвиг в значении слов, если они вот так прикоснулись друг к другу локтями. Или "рубеж" — и споткнувшись на этом "ж", почти сразу слово "перебежав". А если "зараза", то "зеленая". Правда ведь. Какого еще цвета может быть "зараза"? Это и есть быть великим поэтом: организовать, если угодно, систематизировать национальный язык, но по-своему, как никто до тебя. Прости, что так топорно изъясняюсь.

Н и н а . У мужа давным-давно, еще до меня, был с ней роман. Так что я про нее буквально все выспросила. Даже знаю, какое у нее влагалище. Узкое и мелкое. Она же не рожала. Как туннель. *(Затягивается)*. Ты бы в нем от страха умер. Ты только в моем, как рыба в воде. Я с таким ужасом думаю, что муж будет меня обнимать. Для меня это даже

раз в месяц невыносимо. Чувствую, как эта ночь приближается. И все всухую... мне так больно... физически. Какое-то трение всухомятку. Механика. Фрикция. Я потом, как больная, неделю хожу...

С е р г е йДа, а на той встрече, помнишь, год назад, в ЦДЛ, ты еще удивлялась, отчего я больным сказался... Английская писательница говорила, что советским писателям живется куда лучше, чем британским. *(Пауза)*. В каком-то смысле, это правда. *(Затягивается)*. Ее привели к тому-другому. Квартиры хорошие. Книги их издаются регулярно. От спроса не зависят. Окружены почетом и уважением... Ну откуда англичанке знать, что все лауреаты только замещают должности писателей? Правительство твердо знает, что у каждой страны должна быть своя литература. Чтобы с писателями не было хлопот, правительство назначает на писательские вакансии чиновников. Они пишут, их издают, но книг их никто не читает. Так что писатели как бы есть и в то же время их нет... У нас это не все понимают, а что уж англичанка! *(Из дальнего угла кабинета подходит Валерий Павлович и останавливает пленку)*.

В а л е р и й П а в л о в и ч . Устами Горельского да мед пить. В чем-то он прав. Но это же жизнь. Назначаешь порядочного человека писателем... и на тебе! Через пять-десять лет в нем вдруг открывается настоящий талант. Кому в голову такое могло прийти? *(Щелкает зажигалкой. Закуривает)*. И тогда уж талант ему слова диктует. Все, человек становится неуправляем. Горельский, хоть и умен, а... Это потому что обобщает... *(Включает запись. Уходит в свой угол)*.

С е р г е й . Не обобщает только дурак, а за обобщения цепляется только трус. *(Затягивается)*. От паники. От растерянности. Чтобы себя убедить и подбодрить, трус знай себе талдычит: "Французы — такие, а немцы — такие, из красных вин — лучшие такие, женщинам нравятся — такие". А вся прелесть — в одноразовости, чтоб это ни до, ни после не повторилось. Вот метафора — однообразное обобщение, потому неотразима. И тебя я люблю не потому, что таких женщин как ты любят, а потому что ты — это ты...

Н и н а . От мужа я не уйду, потому что тогда ты меня бросишь. Ты будешь бояться, что надо что-то делать, принимать какое-то решение. Ты меня в свой мир впускаешь только как гостя. Побуду и ухожу... И любовь твоя осторожная, с оглядкой. Как по непрочному льду идешь. Просто не способен безоглядно любить. Даже не могу тебя упрекать. Глупо ведь упрекать дальтоника в том, что он цветов не различает. Ты только слова любишь. Их лелеешь и пестуешь. Меня бы так обнимал. Почему ты молчишь? Ты меня слышишь?

С е р г е й . Мне тошно, в самом прямом смысле, оттого что сейчас в Лефортово сидит человек, которого я знаю по имени. *(Затягивается)*. При Сталине хорошо было. Там сидели десятки, сотни, и имен их никто, кроме близких, не знал. Так что все сливалось в сплошное месиво. А теперь по радио сквозь глушилки слышишь имя и знаешь, что вместе с тобой слышат миллионы. И когда по улице идешь, понимаешь, что все знают это имя... И... уважать друг друга невозможно. И то, о чем мы молчим, объединяет нас больше, чем слова... *(Затягивается)*. Но имя — это уже человек. И как бы я ни презирал диссидентов, сразу мутит, подступает к горлу. Свинство и низость... даже в выборе героев.

Н и н а . Вместо того, чтобы мстить тебе, я мщу другим. На тебе самом злобу выместить боюсь. Встретилась на улице с одноклассницей — пять лет не виделись... Где твои спички? Вот здесь только что коробок лежал! А, вот, прости. *(Чиркает спичкой. Затягивается)*. Ну, она мне рассказывает, что замужем, уже третий год и у них полная чаша и чай в шалаше. Даже каждую ночь — представляешь, каждую? — они делают это... *(Затягивается)*. Я слушала молча, но так холодно смотрела, что она через десять минут начала жаловаться на жизнь, что утратила самостоятельность и независимость, что стала рабыней секса и что любовь подавляет личность. И в конце концов тут же на глазах решила спать с мужем порознь. А я ведь ничего не говорила, только всматривалась в ее пугливые глаза... А на самом

деле... чего только я не дала б, чтобы каждую ночь быть с тобой. *(Затягивается)*. А ей, может, всю жизнь поломала. Столько во мне мстительности и злобы скопилось. Неужели я стану когда-нибудь, как моя мать?..

С е р г е й . В Дом литераторов совсем уже невозможно ходить. Там и прежде был гадюшник. Но теперь даже лиц не видно — сплошные хари. Бьют себя в грудь, вдруг на старости лет открыли, что они — русские. Это как велосипед открыть и кричать об этом. В третьем мире это еще куда ни шло, действительно, первое поколение интеллигенции. Обрадовалось, что можно "мы" о себе сказать. А тут... Иваны... вспомнившие о родстве... через тысячу лет. Это потому что им карандаш в руки дали... А тех, кто с этим карандашом в руке родился — бить чем попадя. Гуртом на тех, кто не "мы". Раньше шепотом про жидов говорили, а теперь во всю глотку орут. Им что абхазец, что киргиз, что грузин — все едино. "Черножопый" и точка. Тошно, что русскостью прикрываются да православием. У них на самом деле это не национальное и не религиозное, а социальное, вверх прут... Да не знают, где этот верх. *(Чиркает спичкой. Закуривает)*.

Н и н а . В субботу соседка оставила свою дочку Верочку у нас. Кроха, лет шесть. Мы играли в дочки-матери. И Тоша и Верочка так хотят быть маленькими, так вырасти бояться. Вместо слов — бу-бу да гу-гу, Верочка расстегнула мне блузку и грудь стала сосать... Меня аж в краску бросило. А потом истерически расплакалась и все время повторяла:

— Боюсь лежать одна в земле...

А Тоша ей:

— А я не боюсь, но мне просто не хочется.

Никак успокоиться не могла:

— В земле у меня ничегошеньки не будет.

Я как дура спросила, что она имеет в виду. Чтобы не молчать. А она так мудро, по-философски, даже плакать перестала, ответила:

— Ничего.

А после снова в слезы:

— Не хочу одна умирать. Боюсь.

Я взрослой притворилась. Успокаивать начала:

— Одна умирать не будешь. Никто никогда не бывает один.

Тоша рассердился и горячо запротестовал:

— Неправда! Иногда люди одни, совсем одни. Если в лесу заблудишься, то и умрешь один. А дедушка в парке умер, тоже один, нет, с велосипедом.

А Верочка:

— Хочу лежать в земле с мамой, папой и братом.

И снова играли в дочки-матери. Она меня за сосок укусила и потом жалела. Волосы мне трогала. А когда соседка пришла, я шутливо пересказала наши разговоры, а Верочка расплакалась. Не от страха, а потому что я ее предала. А мне так сладко, так приятно и щеотно было, когда я ее предавала... С тобой такое бывает? Или я одна такое чудовище?

С е р г е й . А тебе не кажется, что у Ахилла и Патрокла была гомосексуальная связь? Ты внимательно прочти, как Ахилл убивается по Патроклу. Так убиваются по возлюбленному. И сравнивает Ахилл своего друга не с орлом или львом, а с маленькой девочкой. А когда Антилох приносит весть о гибели, с Ахиллом, по нашим понятиям, истерика. Нервный срыв... Волосы рвет на себе, по земле катается, пеплом себя осыпает. Скорбит больше, чем если бы узнал о смерти отца или сына. С этими героями вечно какая-то неувязка, недоговоренность, полутайна... Их порывы, их мотивы да и сами подвиги всегда как-то двойственны. Умоляю, подвинься, мы лежим на самом краю...

Н и н аМне даже удивительно, что я иногда без тебя бываю счастливой. Вчера декан выступал перед всем факультетом. И студенты и преподаватели собрались. В актовом зале. А когда ко всем обращаешься, особенно, если ты декан, то просто обязан говорить глупости. С каждой минутой я чувствовала себя счастливей и счастливей... Ну за что, почему жизнь так великодушна и милосердна ко мне и никогда не требует, чтобы я говорила такие стыд-

ные глупости. Раскраснелась. Разволновалась. А декана даже не жалела, он ведь ночью будет спать как ни в чем не бывало.

С е р г е й . Эти поцелуи (*звук поцелуев*). Вот здесь, между верхней губой и левым глазом, будем считать Курильскими островами. Ты не против? Ага, против... Потому что спорная территория. На нее Япония претендует и ты боишься, что я уступаю...

Н и н а . В самый первый раз мы поставили два стула вот здесь, друг против друга, наискосок. Потом сели из-за того, что стулья стояли наискось, сразу прикоснулись щеками. Боковым зрением я видела твои глубокие морщины и едва не дрожала от ужаса, потому что таких старых у меня никогда прежде не было... и поцелуи медленно тронулись в противоположных направлениях

С е р г е й . Вот, послушай, это я сегодня написал (*читает сдержанно*): "Он принес в класс несколько мотков разноцветной шерсти и всех обмотал, обвил, опутал. Они смеялись до слез. Шерсть была пружинистой. Лежать в ней было тепло. Нити не резали рук и ног. Можно было даже передвигаться, всем телом сразу, рывками, несколько сантиметров вправо, потом влево. Они смешно сталкивались, случайно тыкались друг в друга губами. Губы тоже были пружинистые, пушистые. Они решили никогда не распутываться. Поначалу дирекция все делала втихую. Учителя вооружились ножницами и бритвами. Но перерезанные узлы и петли тотчас же срастались и становились еще крепче, чем прежде. Кормили их с ложечки. В конце концов об этом узнали все. Школу оцепили, вызвали роту десантников. Но и специальные резак не брали шерсть. Тогда ночью в класс напустили моль. Проснувшись, они не нашли ни единой ниточки. Моль сожрала даже одежду. Так их голенькими и раздали родителям".

(Пауза. Валерий Павлович подходит и останавливает пленку).

В а л е р и й П а в л о в и ч . А ведь только мы с вами, Володя, во всей стране знаем, что Горельский один из...

да нет, лучший современный писатель в России. Он даже сам этого не подозревает. *(Щелкает зажигалкой. Закуривает)*. А я всех этих московских писателей-невидимок, кротов, что в стол пишут, наперечет знаю. Я бы лекции в университете по их творчеству читать мог. Я бы таких писателей стране открыл! И если бы Председатель Комитета Государственной безопасности при Совете Министров СССР учредил премию имени... Попова, ладно, Маркони, то в жюри решающий голос был бы мой! И самую первую премию я присудил бы мастеру русской прозы Сергею Горельскому! Нет, нас еще вспомнят добрым словом! Лет так через пятьдесят или сто эта запись с живым, неподдельным голосом Горельского будет в фонотеке каждого библиофила. *(Затягивается. Включает запись. Отходит)*.

И н а . Я в следующий четверг чуть-чуть опоздаю. Мне надо в паспортный стол забежать... Что это? Откуда у тебя такое вино? *(звук откупорки)*. Шате неф дю Пап. *(Сергей разливает вино в бокалы)*. Это мое первое французское вино в жизни. *(Целует Сергея)*. А, письмо... *(шуршание бумаги)*. Можно? "Милый Сережа!.. — Ты уверен, что можно? Это не от дамы? — Вот письмо тебе и бутылка с okazjiей. Тепло ли вам по-прежнему? Дружите ли вы и любите ли друг друга как десять лет назад? Как я боюсь, что нет. Здесь вместо дружб — прием у психоаналитика. Но хуже ли это? Разрыв с психоаналитиком не так кровоточащ, как с другом. У меня такое чувство, что мы знали, на что идем, когда рождались, т.е. сознательно выбрали эту жизнь. А раз знали, то пенять не на кого. Эта тоскливая нота не оттого, что я разочарован здешней жизнью. Разочарование — это следствие очарованности. А я уезжал, заходя ухмыляясь, почти презирая. Чем еще было спастись, кроме самонадеянности? Но если бы в моем теле жил другой человек, то этот другой мог бы даже очароваться, пропутешествовав из Москвы в Вену, а из Вены в Париж..." — Еще. То ли вино изумительное, то ли мне крутит голову, что оно французское. *(Подливает)*. Спасибо... — "Увы! Ты помнишь, как мы вместе хохотали на фильме, где герой-итальянец

решает вернуться на родину то ли из Австрии, то ли из Швейцарии, берет билет на поезд, входит в вагон, видит и слышит соотечественников, их лица, их громкие аккордеоны и... в ужасе убегает. Билет на наш поезд мне не дадут, но я бы его и не брал. Меня еще в Москве передернуло от фразы Н. в знаменитом самиздатском эссе: "Нельзя позволять всяким Сартрам..." и так далее. Дело не в Сартре (из него и впрямь сартрианец был никудышний), а в этом "нельзя позволять". В том, что такая мысль приходит в голову. Можешь представить себе наших соотечественников здесь, если уж такой умный и тонкий человек как Н. метил в законодатели. Наши теперь всех поучают — это в лучшем случае, а сплошь и рядом — обвиняют. Весь мир у них в долгу. Не знаю, чего в этом больше: мании величия или чувства неполноценности. Мы просто проклятый народ. Не справившись с настоящим, мы витийствуем о будущем. У нас нет быта, потому такой истерический рывок в бытие. Мы производим только пророков, и тем самым способствуем инфляции пророчеств. А кто не истерик, тот, по-нашему, мещанин или буржуа. От первого лица мы разучились мыслить (см. мое письмо). Или никогда не умели. Наши гении-изгнанники играют в полемические поддавки, придумывают мнимые антиномии вроде "запад и восток" (Киплинг здесь ни при чем). Слава Богу, я в Сорбонне, со своей тишайшей семиотикой, трачу деньги на дорогие вина и лавирую — порой безуспешно — между своими неотразимыми аспирантками. Хочешь верь, хочешь нет, но, кажется, это единственно достойный выход, если у нас вообще есть хоть какой-нибудь выход. Неизменно любящий тебя... впрочем, ты знаешь кто. *(Пауза. Звучит музыка; третья часть, Allegretto, из Восьмого квартета до минор Д.Шостаковича, около минуты. Валерий Павлович останавливает запись)*,

В а л е р и й П а в л о в и ч . Оказия, кстати, французский журналист. Чуть ли не коммунист... Ну, как вам это нравится?

В о л о д я . В каком смысле?

В а л е р и й П а в л о в и ч . *(Резко)*. Слушайте, кто

у вас курс по современной зарубежной литературе читал?
Володя. Джапаридзе.

Валерий Павлович. А кого вы из современных западных драматургов знаете?

Володя. (Пауза). Ну, Бернарда Шоу.

Валерий Павлович. Может, вы еще Шеридана вспомните? Да он же, этот Джапаридзе, дебил, дегенерат! У него Толин из-под носа в Копенгагене ушел. Джапаридзе только и выпустили за тем, чтобы он глаз с Толина не спускал! А Джапаридзе... Да он наутро в газетах — как снег на голову — прочел: "Лауреат Ленинской премии, Толин, просит политического убежища". Только тогда и понял. И как вы ему экзамен сдали?

Володя. На "хорошо".

Валерий Павлович. Сидел бы этот Джапаридзе у себя в кавказском ауле и только за солью с гор спускался! Ну, а то, что Горельский и Нина Михайловна говорят вразнобой, то это уж моя вина... или заслуга. Пленку я сам разрезал. Не за страх, а за совесть. Оставил самое важное, так чтоб человек виден был. А иначе... годами сидели бы, чиханье да шарканье, да сквозняки слушали... Так что композиция моя. В Минске вас такому не научат. Не сердитесь... погорячился... Это из-за Бернарда Шоу. Я тут вас оставляю не надолго... там еще кое-что на пленке... (Включает запись. Слышны поцелуи, объятия. Выходит из кабинета. Шаги по коридору. Бормотание стихов: "Он наблюдал их, трогаясь игрой, двух крайностей, но из того же теста... Во младшем крылся... будущий герой... А старший был мятежник, то есть... деспот." Стук в дверь. Не ожидая ответа, открывает).

Валерий Павлович. Позвольте, Борис Терентьевич? (Заходит, направляется к столу, садится. Задумчиво). Мне кажется, нынешняя молодежь не так... романтична, как наше поколение... Чересчур рациональны, логичны. Вы помните, как мы начинали, как нам, почти мальчишкам, старики руки целовать хотели... У меня голос дрожал, когда я говорил: "Позвольте вручить вам реабилитационное свидетельство"

А после от себя: "Бывшее руководство допустило серьезные ошибки, но мы верим, что вы не таите зла на свою родину"... А сам думаю, как бы не расплакаться. Да... Так я новенького посылаю сегодня в паспортный стол... пусть встретится с Ниной Михайловной, побеседует... Мне ведь на него характеристику в Минск писать, вот и пусть себя покажет. Она порывистая, но поладить с ней можно... все-таки ребенок, любовник, переводческие амбиции, на носу защита кандидатской. Нет так нет. Расскажет Горельскому — и прекрасно. Пусть знает, что мы его ценим и не забываем. Не расскажет — тоже хорошо. Пусть сама себя поедом поедает. Ну, а согласится нам помогать, так и мы... ей поможем... Но главное — новичок. Он сейчас в стрессовом состоянии. Это у него премьера будет. В первый раз скажет (зло-радно): "Я из Комитета Госбезопасности". Представляю ее презрительный взгляд. Пусть привыкает... Нет, мы в лучшие времена начинали... Разрешите идти? (Встает).

Борис Терентьевич. Э... Валерий Павлович... один вопрос, почти личный... Отчего вы себя председателем жюри назначили? Не скромно... я ведь тоже рукописи почитываю... да и с выбором вашим я не совсем согласен. Или вы считаете, что у вас абсолютный вкус? Горельский способный человек... но корпуса ему не хватает, системы, что ли... Ну, да ладно, соберется жюри, тогда и обсудим. (Оба смеются. Валерий Павлович выходит. По пути саркастически бормочет "корпус", "система". Входит в кабинет. Звук поцелуев, объятий. Выключает).

Валерий Павлович. Володя, что с вами? Пот градом льет... Да вы бы могли выключить или вперед прокрутить.

Володя. Я прокручивал, но...

Валерий Павлович. (Хохочет). Ну, признаюсь вам, это я пошутил. Простите, что так пошло. Склеил на пленке кряду их звездные часы... А вы решили, что Горельский половой гигант? Успокойтесь. Такой же как вы и я. (Звонит по телефону) Семеныч? Это я. Мне мотор на шестнадцать ноль-ноль. Нет, не далеко, на Сретенку. Будь. (Кла-

дет трубку и тотчас звонит.) Шурочка? У меня к вам огромнейшая просьба. Пожалуйста, сегодня параллельно с записью прямую трансляцию мне в кабинет, да, с восемнадцати ноль-ноль... да, я буду. *(Кладет трубку)*. Ну что, Володя, пойдемте обедать. Я угощаю. У вас, кстати, сегодня, встреча с Ниной Михайловной. В шестнадцать тридцать. В паспортном столе райотдела милиции. Я буду в соседней комнате, на всякий случай. Возьмите эту синюю папочку. Там все данные про Нину Михайловну. За обедом обсудим, что к чему. А после, если вы не против, вернемся — мы ж тут не за страх, а за совесть — и послушаем, какое впечатление вы на Нину Михайловну произвели. Не против? Дайте-ка я окно открою, а то накурил... Пепельницу на бумаги, а то ветром еще унесет. Вот. Идем?

(Стук двери. По кабинету гуляет ветерок. Шелест бумаг. Доносится шум московских улиц: свистки милиционеров, гудки, рев пожарной машины, неразличимые голоса торговков. Кремлевские куранты бьют шесть часов вечера. Распахивается дверь.)

В а л е р и й П а в л о в и ч . Нет, Володя, не скромничайте. Я вам ставлю твердую четверку. С минусом. Минус за то, что вы смерть отца забыли упомянуть. Все-таки у нее чувство вины... *(Радиошорох в комнате. Валерий Павлович смолкает)*.

С е р г е й . Послушайте, полковник. Вы меня слышите? Или майор. Или капитан. Не знаю, по какому ранжиру у вас иду. *(Пока Горельский закуривает, Валерий Павлович закрывает окно)*. Может, только до лейтенанта дорос. Но вы ведь тоже человек... Ведь так. Да, офицер, чекист, но сперва человек. *(Затягивается)*. Могу я с вами, как с человеком? У меня к вам просьба *(Пауза)*. Я бы раньше торговался. Было чем. Вы ведь знаете, если вы майор... а если вы лейтенант, то напомним. Тот процесс над двумя писателями, с которого все пошло по новой *(Пауза. Стряхивает пепел)*. Я ведь тогда не просто отказался подписать коллективное письмо в их защиту, а на века обосновал свой отказ: "коллектив — это власть". *(Пауза)*. Вы же знаете, это была взят-

ка вам. Только вы и знаете... Человек с моей репутацией: ни слова во славу... и отказывается. Все думали, что я первым свою подпись поставлю. Я тысяче или десяти тысячам охоту отбил подписываться под этими протестами! Я ведь личность противопоставил!.. Вы-то знаете, что если сто человек из ста миллионов подписывают, то это и есть индивидуализм. Вы-то каждым отдельно займетесь. Если сто парижан подпишут — то это коллектив, а если сто москвичей... то ты как голенький. Все по одиночке... Так вот, вся Москва тогда повторяла "коллектив — это власть". А теперь и подавно повторяет. Я ведь Бог всех молчалльников и безъязыких. Послушайте! Вы ведь слушаете? Или вы думаете, что мои заслуги меньше ваших? Тогда вы полный идиот! Так вот, у меня к вам просьба... Оставьте ее в покое... иначе...

(Звонок в дверь).

КОНЕЦ

В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ В СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ" ПРОФЕССОРА ИСТОРИИ ТЕЛЬАВИВ КОГО УНИВЕРСИТЕТА ВОЛЬФГАНГА ЗЕЕВА РУБИНЗОНА.



Зиновий ЗИНИК

ЭДИПОВ СТАЛИН

Я родился в День победы над гитлеровскими захватчиками. А значит в час моего рождения за окнами роддома бурлила, видно, энтузиазмом толпа, плескались неукратимой волной алые знамена, репродукторы выкрикивали приветственные лозунги руководителю всех наших побед товарищу Сталину, которому с пеленок я был благодарен за свое счастливое детство. Этим радостным крикам, видно, вторил и я, когда лез из утробы. Поэтому, видно, с первых дней я так радовался реву толпы, маршам и праздничным транспорантам.

В одном я согласен с врачом психбольницы, если подобный изверг достоин носить звание советского врача: когда я, еще несмышленный мальчишка, попал впервые на демонстрацию и зашагал по Красной площади, я подсознательно чувствовал, будто рвусь к свету из утробы. Это было второе рождение. Сколько алых, горячих знамен, сколько ярких красок было вокруг! Раскрасневшийся, с блестящими гла-

зами, с шапкой, сползающей на затылок (ведь надо было все время смотреть вверх!) я подпевал каждому хору, приплясывал под звуки каждого оркестра. Я и мои родители (тогда я еще не догадывался, кто они такие) не шли — нас несло широким потоком праздника.

Помню, как в нашей колонне кто-то крикнул: "Да здравствует товарищ Сталин!" Мощное "ура" прокатилось по площади. Чьи-то сильные и добрые руки подняли меня над морем голов, над алым водоворотом знамен и транспорантов. В праздничном мареве я увидел, как бескрайний людской поток течет и течет, жаркой волной омывая простые и строгие стены Мавзолея. Я увидел зубцы и башни кремлевской стены, суровые и задумчивые ели у могил бойцов революции.

Мне показалось, что вся вера, вся надежда и любовь человечества бесконечным прибоем хлынула сюда, к великому маяку, указывающему путь в грядущее. На багровых трибунах Мавзолея, отороченных красным кумачом, стоял товарищ Сталин. Стоял как памятник, с отцовской, мудрой улыбкой из-под усов наблюдая, как я рождаюсь в буре социалистического праздника.

Я размахивал ему высоко поднятой рукой. И я уверен, что он меня увидел, потому что тоже поднял руку и помахал в ответ. И я закричал. Я хотел крикнуть: "Отец!" Но горло у меня перехватило от ужаса за судьбу любимого вождя.

Я ясно видел, что товарищ Сталин стоит на трибуне кверху ногами. Я не поверил своим глазам. Я оглянулся еще раз, напоследок: не было никаких сомнений — Сталин стоял на трибуне вниз головой перевернутый!

Вместе с толпой демонстрантов мы спустились к набережной. Из-за туч выглянуло солнце, в реке отразились кремлевские башни и купола. Родители не подавали виду и пытались отвлечь меня воздушным шариком, задабривали леденцами.

Уже тогда я стал подозревать их. Отец жевал бутерброд с колбасой, как будто ничего не произошло. И я не сказал ему ни слова об ужасе увиденного. С детства мне приходилось скрывать страшную тайну от собственных родителей.

Врач-психиатр, исходя из фальшивых буржуазных теорий, утверждает сейчас, что все увиденное мной на демонстрации было зрительной аберрацией. Как тогда объяснить, что и на портрете у нас дома над диваном Сталин было явно вверх ногами? Не думаю, что уместно называть зрительной аберрацией попытки государственного переворота, а ведь Сталин и был советским государством. Враги только и надеялись на искажение учения ленинизма-сталинизма, стараясь перевернуть вверх ногами завоевания социализма. Вокруг кишели шпионы иностранных разведок, скрывающие свое истинное лицо. Об этом много говорили по радио.

Помню, как я однажды стоял и ел мороженое-эскимо у ворот своего дома. Из ворот вышел человек и подозрительно быстро зашагал прочь. Я бы не обратил на него внимания, если бы на мгновение не встретились глазами. Подозрительный прохожий не выдержал моего пристального взгляда октябренька, будущего пионера, а затем комсомольца и, наконец, члена партии. Он отвел взгляд, и это меня насторожило. Я хоть и ел мороженое, но бдительности не терял. Я делал вид, что продолжаю есть мороженое, на самом деле незаметно пошел за ним.

Подозрительный тип, видно, заметил, что за ним следят; его совесть была явно нечиста, потому что он перешел на другую сторону улицы. Он ускорил шаг. Конечно же, чтобы уйти от меня, то есть он, значит, боялся разоблачения. Я хоть и был малышом-октябреньком, однако шустрым. Я уже нагонял его, забыв про мороженое, когда он сделал еще более подозрительный маневр: он свернул за угол. Но не тут-то было! Я тоже свернул за угол, потому что ожидал от него подобного и был готов свернуть за угол, когда потребуются. Он оглянулся и еще раз свернул за угол. Я за ним. Я уже точно знал: это шпион.

Это был опытный шпион, потому что не успел я нагнать его за углом, как он, уже не оглядываясь, бросился снова через улицу. Я за ним. Но мой опыт преследования врага был ничтожен, и когда шпион прошмыгнул в булочную, я растерялся. В булочной была страшная толкучка.

Меня толкали. Поскольку я не был еще пионером, комсомольцем и членом партии — ростом я еле доходил до колен толкущимся в булочной трудящимся.

Как ни задирали я вверх подбородок, лица шпиона я различить в толпе не мог. Булочная закрывалась, и меня вытолкали наружу пособники империализма.

Стоя на пороге булочной, я оглянулся влево, оглянулся вправо и понял, что очутился на совершенно незнакомой улице, преследуя этого агента иностранной разведки.

Я не знал, куда идти. Хотя в свои шесть лет я и отличался находчивостью и политическим чутьем, но страдал, как и многие индивиды моего возраста, полным топографическим идиотизмом. Я понял, что никогда не найду дороги домой. Что я попался в сети, куда заманил меня подозрительный шпион. Я заревел и залился горячими слезами. И тут вдруг надо мной склонилось лицо взрослого. В нем я с ужасом узнал лицо шпиона. "Что ты плачешь, мальчик?" — лстиво спросил шпион. — Не плачь, мальчик, хочешь калорийную булку куснуть?"

Булка пахла ванилью и изюмом, слезы мешались со слюной, и я тер кулками глаза, чтобы не видеть эту шпионскую приманку.

"Октябренька калорийной булкой не купишь!" — хотел сказать я, но мне помешали рыдания. "Напрасно отказываешься, — сказал шпион. — Я за булками всю дорогу бежал, чтоб успеть до закрытия", — сказал он и вдруг стал трясти меня за плечо. — "Да я тебя знаю, мальчик. Ты из третьего подъезда. А я ваш новый домуправ. Месяц назад заступил в должность. Так ты что, заблудился?" Он взял меня за руки и потащил домой. Его, впрочем, через год арестовали, как врага народа. Так что я оказался прав. Он нам из шланга на дворе не разрешал поливаться.

Сколько я ни пытался высматривать шпионов вокруг себя, все попытки в этом направлении кончались неудачами. Все подозреваемые мной кандидатуры оказывались или ближайшими знакомыми или прямыми родственниками. И тем не менее, через год опять попал на demonstra-

цию, я вновь увидел Сталина вверх ногами. Зрелище было невыносимым. Надо было срочно отыскать ответственных за эту чудовищную провокацию и наказать их по заслугам. Но где они, эти шпионы и вредители? Если их нельзя отыскать вне дома, ответ напрашивался сам собой: враги народа — твои родители. Об их вражеской сущности я стал догадываться по враждебным взглядам, которые они бросали на мою коллекцию портретов Сталина. Я развешивал эти портреты из газет и журналов по всей комнате: Сталин с трубкой, Сталин с пионеркой, Сталин с Лениным и просто в сапогах во весь рост. Но больше всего меня притягивал Сталин на Мавзолее: с приветственно поднятой ладошкой, улыбающийся на усы, улыбающийся, конечно же, мне.

"Отец!" — шептал я и никак не мог понять, почему все на фотографии вверх ногами. Я пытался перевертывать фотографии и так и сяк. Ничего не помогало. Однажды за этим занятием меня застал отец. Я перехватил его озабоченный взгляд. Взгляд врага. Он догадывался, что я догадался.

Однажды я подслушал разговор в кухне с районным врачом из поликлиники: отец с доктором шепотом советовались, как излечить меня от представления о Сталине вверх ногами. Они пытались свалить вину за подобное положение дел на мое мировоззрение и объявить меня сумасшедшим. Отец был в заговоре с врачом. С вредителем. Тогда уже всей стране было ясно, что врачи в заговоре с космополитами занимаются вредительством. И я был одной из первых намеченных жертв.

Я, конечно, опасался прежде всего за Сталина и за страну в его лице, а не за себя. Хотя мой официально зарегистрированный отец и не был врачом, но его отец был аптекарем. Он явно снабжал моих родителей ядами, чтобы отравить руководящих работников партии и правительства и товарища Сталина в общем и частном. Кроме того, в паспорте, который я обнаружил в кармане отцовского пиджака, было ясно и четко написано слово "еврей", что, как в последствии разъяснилось, означало принадлежность к заговору безродных космополитов. Об этом мне рассказали

во дворе мои приятели и однокашники. Об этом же писали и все советские газеты. Тогда я и понял, что оказался в стане врага. Я уже отдавал себе отчет, что мне придется повторить подвиг Павлика Морозова.

Про Павлика Морозова нам рассказывали в школе, и мы его историю несколько уроков подряд заучивали наизусть. Пока рабочие на заводах и фабриках строили социализм, падая в обморок от недоедания, отец Павлика Морозова загребал зерно лопатой в подпол, чтобы печь тайком кренделя, маковые пироги и калорийные булочки, лопаая их за обе щеки. Кто бы мог подумать, что и мой отец окажется кулаком в новом обличьи еврея-космополита?

Правда, отец Павлика душил молодую советскую власть, скрывая от нее в амбарах зерно, чтобы уморить голодом революционный пролетариат в городах, а мои родители, которых я теперь и не считаю своими родителями, пытались отравить самые основы советской идеологии безродным космополитизмом. В этом смысле моих родителей было труднее поймать с поличным. С другой стороны, Павлику было труднее: ему нужно было донести советской власти на своего родного отца. И он это сделал, как настоящий пионер. Он понимал, что это не просто его отец — но реакционный элемент, шлагбаум на пути светлого будущего, который надо разбить в пух и прах буферами паровоза коммунизма. Ему пришлось принести сыновью любовь в жертву идее строительства социализма, в жертву советской идеологии, в жертву партии.

Мне же было легче: уже тогда я догадывался о своих непростых отношениях со Сталиным, хоть и смутно, но уже подозревал, что мой истинный отец — товарищ Сталин, а мои названные папа с мамой — лишь подставные родители. Отмечу, что мой зарегистрированный отец появился в доме лишь после войны, когда я уже родился, на все готовое.

Мне было легче и потому, что и строительство социализма и советская идеология вообще, и партия и светлое будущее уже не были, как для Павлика Морозова, лишь иде-

ей, но давно слились в родное и до боли знакомое лицо с густыми усами, с трубкой, с пионеркой, с Лениным и в сапогах. И, конечно, на Мавзолее, хотя и в перевернутом виде. Кверху ногами. Я знал, что это не младенческая абберация. И чтобы восстановить нормальное положение вещей, надо сообщить властям, кто строит эти зловещие козни.

Меня останавливала самая жалкая из человеческих слабостей: страх. Я уже давно жил в ужасе, что мой отец окажется, как отец Павлика Морозова, врагом народа. И что я, таким образом, окажусь сыном врага народа. Ведь такое может случиться с каждым советским человеком, и мне было страшно. Это ведь, как заразная болезнь, вроде холеры или чумы, — всегда надеешься, что тебя эта зараза пронесет. И когда беда грянула, когда до меня, семилетнего школьника, дошло, что шпионов надо искать не на улице, а у себя дома, мне стало страшно.

Я знал наизусть, что сделали с Павликом Морозовым кулаки в отместку за выдачу властям их сообщника, крадущего хлеб у государства. Они заманили его в лес дремучий и там изрубили его на куски топорами. Так было черным по белому написано в "Родной речи". Возможно, сварили потом из кусков разрубленного Павлика похлебку и съели ее, запивая водкой и опиумом для народа. А космополиты, как было известно из газет, враги хуже кулаков. Даже хуже нацистов. А я наизусть знал, что нацисты сделали с партизанкой Зоей Космодемьянской. Мы об этом тоже учили в школе.

Как мучили ее фашистские изверги. Как, раздев ее до гола, хлестали ее армейскими кожаными ремнями. Как подносили ей ко рту керосиновую лампу вместо кружки с водой. Как жгли ей кожу зажженными спичками и проводили по спине пилой.

Губы ее были искусаны в кровь, когда под пытками пытались вырвать у нее признание: "Скажите, где находится Сталин?" А она отвечала, кусая губы: "Сталин находится на моем посту".

Голую, с босыми ногами вели ее по снегу к виселице. На шею ее повесили бутылки с бензином и доску с надписью

"Поджигатель". В груди у меня бушевал пламень, когда я разглядывал иллюстрацию в "Родной речи": партизанка Зоя в одной нижней рубашке с петлей на шее выкрикивает свои последние слова: "Нас двести миллионов, всех не перевешаете. С нами Сталин!" А охранники кололи ее тело штыками, прямо в грудь, в сосок. Я внимательно вглядывался на каждом уроке в картинку: виден ли сосок из-под ночной рубашки или не виден?

Эти нацистские пытки продолжались у меня на глазах дома каждую ночь. То есть не на глазах, а за ширмой. Я узнал об этом, когда однажды проснулся ночью от страшных криков матери. Заглянув за ширму, где стояла кровать родителей, я увидел чудовищную картину: мать, совершенно голую, подминал под себя отец и кусал ее в грудь. Мать кричала под пыткой бессвязно. Наутро я заметил у нее на шее синяк, как у Зои Космодемьянской. Никогда этого не забуду: мне было страшно: каким же пыткам подвергнут меня, сообщника отца, если я сообщу о его антисоветской деятельности товарищу Сталину? Товарищ Сталин, видимо, понял, что я нуждаюсь в защите. Он проник в мои мысли, и сам, без какого-либо действия с моей стороны, арестовал моего отца в 52-м году. Больше я этого врага народа не видел. Однако он успел измучить сердце моей матери ночными пытками, и она вскоре скончалась от инфаркта.

Нашу квартиру опечатали, а меня перевели в детдом, где я и вырос настоящим советским человеком, благодаря неусыпному надзору нашего старшего воспитателя Макаренко. С ним я делился, как со старшим товарищем, своими подозрениями о врагах народа, перевортывающих Сталина вверх ногами, исповедовался ему о чувстве вины из-за своей нерешительности в разоблачении своих родителей.

Помню его загорелое и широко лицо, большую и круглую бритую голову, мускулистые и сильные руки; на застиранной гимнастерке — потускневший от времени орден Красного Знамени. Рыжеватые подстриженные усы не скрывали добродушной усмешки; глаза из-под густых выцветших бровей смотрели зорко и весело. Он был одним из

первых комсомольцев и слышал самого Ленина.

Когда я говорил Макаренко о ненависти к врагам народа, бушевавшей в моей груди, он повторял завет Ленина: "Учиться, учиться и учиться!" Иначе не одолеть врага, когда станешь взрослым. Он учил нас закалять свое тело, чтобы выстоять под пытками, если попадешь в плен к врагу, как Зоя Космодемьянская или Павлик Морозов.

Помню, как он показал мне первые упражнения на выдержку. И все на собственном примере, без сухих абстрактных рассуждений, которыми отпугивают учеников иные именитые педагоги. Он запирает дверь в своей комнате и заставлял раздевать его догола, как Зою Космодемьянскую — как если бы я и есть нацистский изверг. Потом вынимал из штанов широкий кожаный армейский ремень и приказывал мне стегать его тело что есть силы. Как настоящий народный герой, он встречал эту боль без крика: только кусал губы и стонал. Он этих ударов разбухал у него между ног, как он говорил, "партийный член". Как объяснял Макаренко, этого и добиваются во время пыток враги народа. Если взять в кулак этот вставший на вахту "партийный член" и тереть его вверх и вниз, то из него начинает литься белая жидкость. Это — мужское семя, залог народной силы и мощи, зачинатель всего живущего на земле. Это мужское семя и стремятся высосать из народа враги советской власти. Он показал мне, как выкачивают семя народные изверги; поскольку я был отличником боевой и военной подготовки, он разрешал мне брать в рот его "партийный член", чтобы проглотить его мужское семя и стать еще сильнее. Он говорил, что у него много этого семени, ему не жалко, а я буду здоровее и выносливей. Не очень вкусно. Но зато полезно. Я очень полюбил это упражнение на выдержку, и когда я подрос и мог сам поделиться семенем со своими товарищами, мне было жалко расставаться с родным детдомом и моим любимым воспитателем. Лишь благодаря ему я вырос совершенно подготовленным к физическим и моральным пыткам, которые уготовили мне враги народа.

Если бы не воспитатель Макаренко, как пережил бы я самое страшное событие в моей жизни — смерть отца всех пионеров и комсомольцев, коммунистов и беспратийных, товарища Сталина? Солнце померкло. Я чувствовал себя сиротой. Но не успели отгреметь траурные гимны, как над памятью великого вождя стала измываться клика волюнтаристов во главе с Никитой Хрущевым. Оказывается, никаких врачей-вредителей не было. А, значит, мой отец не был врагом народа? Мне навязывали ложное чувство вины. С трибуны партийного съезда прозвучали страшные обвинения о том, что якобы товарищ Сталин и его приспешники уничтожили десятки тысяч ни в чем неповинных советских людей. Что Сталин не вождь и учитель, а чуть ли не палач. В газетах писали о некоем культе личности Сталина и искажении ленинских норм партийной демократии, которые восстановил Никита Хрущев.

Волосы у меня вставали дыбом от услышанного. Неужели Сталин — враг народа? Если мой, второй, настоящий и истинный отец — враг народа, то почему я, его сын, не известил об этом во-время соответствующие органы? Уж однажды я не выполнил завета Павлика Морозова — это было простительно: я был мал и несведущ. Но после уроков Макаренко, как мог я, Павлик Морозов, не угадать врага в своем отце, товарище Сталине?

Я стал припоминать, что у меня, порой, возникали некоторые сомнения в справедливости арестов ведущих руководителей партии и правительства — точнее, не сомнения, а удивление. Удивление перед пронизательностью своего отца, вождя и учителя. Значит, было в чем сомневаться, чему удивляться? Недаром я видел Сталина кверху ногами. Почему же не пошел и не доложил старшему товарищу? Почему не доложил товарищу Сталину? Тут-то и начиналась загвоздка. Если мой отец Сталин, то я — как Павлик Морозов — должен донести на своего отца Сталину. Я должен был товарищу Сталину донести на своего отца Сталина? Трудно было уложить это в голове. Во имя сталинской идеи предать Сталина? Если Сталин предал сталинизм, надо было на

него донести. Для этого он и воспитывал Павлика Морозова. Но Сталина предал во имя сталинизма Никита Хрущев. Он был истинным Павликом Морозовым, а не я. Я опять сдрейфил. Я чувствовал стыд и позор.

Наступил день, когда опозоренное тело товарища Сталина выбросили из Мавзолея. Кверху ногами, наверное. И сожгли. Если бы не мой бывший воспитатель Макаренко, я бы, наверное, покончил жизнь самоубийством. Но он провел со мной серьезную идеологическую работу. Мы говорили всю ночь. Он объяснил мне, что Хрущев — волюнтарист, что в Политбюро пролезли идеологически вредные элементы, которые мутят мозги классово несознательной интеллигенции. Что основная масса советского народа готова биться до последней капли крови, неся в своем сердце образ Сталина.

Казалось бы, мой воспитатель был прав: вскоре, действительно, в газетах стали писать о том, что несмотря на отдельные проявления культа личности, Сталин — создатель нашей советской социалистической державы и руководитель всех побед, и несмотря на имевшие место искажения ленинских норм, советский народ вместе с партией во главе с товарищем Сталиным всегда следовали генеральной линии. Казалось бы, сталинизм остался нерушимым идеалом.

Торжествовать, как оказалось, было рано. Подобные экивоки партийной печати были лишь костью, брошенной массам. Имя Сталина вскоре окончательно исчезло из печати. Одновременно, со мной стали происходить необъяснимые явления. В голове моей стал звучать голос, призывавший меня покончить самоубийством. Когда я оказывался в помещении третьего этажа, голос диктовал мне выброситься из окна. Когда я оказывался перед колодезем, голос предлагал мне кинуться в колодезь вниз головой. Даже в уборной голос из унитаза призывал меня повеситься на сортирной цепочке. Когда же я брал в руки бритву — я уже к тому времени был настоящим мужчиной и брился ежедневно — голос советовал мне перерезать себе горло. Тем более, в зеркале я отражался вниз головой. Дело в том, что не только

Сталин на портрете, но и все вокруг стало постепенно переворачиваться в моих глазах кверху ногами. Замысел врагов народа стал мне совершенно ясен: если заставить людей видеть окружающий мир поставленным на попа, они и не заметят, что сам Сталин — кверху ногами.

Так враги народа хотели привить мне чуждое мировоззрение и довести до самоубийства. Их цель была ясна: уничтожить наследника Сталина, его единственного оставшегося в живых сына. То есть меня. Об этом я и сообщил Комитету Государственной Безопасности.

Я сообщал, что как сын Сталина подвергаюсь постоянным пыткам со стороны врагов народа, которые боятся моего прихода к власти при поддержке народных масс. Для осуществления этой подрывной цели враги народа впяли мне в мозг антенну и диктуют моему мозгу по радио вражеские приказы о самоубийстве. Я заверял органы безопасности, что сам я лично не стремлюсь к власти и мечтаю лишь отдать всего себя, чтобы умирая можно было сказать: вся жизнь отдана. И тем не менее, я требую прекратить изуверства и нацистские пытки над моим мозгом, поскольку не за то умирали Павлик Морозов и Зоя Космодемьянская, чтобы публично измывались над памятью Сталина в лице его сына.

Положение в стране, однако, было гораздо более угрожающим, чем я предполагал. Волюнтаристы, судя по всему, проникли в государственный и партийный аппарат на самых высших уровнях. Вместо того, чтобы пресечь действия врагов народа, органы госбезопасности направили меня в психиатрическую больницу тюремного типа. Ко мне приставили врача-изувера, который стал проводить со мной беседы про какого-то древнегреческого царя. Этот врач был явно из недорезанных большевиками монархистов.

Пользуясь доступом к сверхсекретным делам, заведенным на родственников и членов семьи товарища Сталина, он нашел в архивах данные и свидетельства об обстоятельствах моего рождения. Согласно его измышлениям и фальшивым показаниям некой санитарки роддома, где я родился

ся, мою мать привезли в роддом, когда у нее уже начались схватки. Вместо того, чтобы сразу поместить роженицу в родильную и принять роды, ее усадили на диван в приемной и стали выспрашивать анкетные данные — дату и место рождения, номер паспорта и т.д. Тем временем, сошли уже воды, и я полез головой вперед. И кого же я увидел своими вытаращенными глазенками, едва моя голова вылезла на свет божий? Тут психиатр сделал паузу и сообщил: я увидел товарища Сталина! И он даже нарисовал план приемной роддома: диван, на котором корчится моя мать в схватках, сбоку стоял заведующий, записывающий анкетные данные, а напротив дивана — бюст товарища Сталина. Этому психиатру нельзя было отказать в поэтическом даре!

Представьте, убеждал он меня, гипсовое лицо товарища Сталина на кумачовом постаменте, белое и неподвижное, как будто напряженное от соучастия в родовых потугах, уставилось на рожающую советскую гражданку с раздвинутыми ногами. И оттуда лезу я: из кумача влагалища, как в отсвете кумача на пьедестале, вылезает моя голова, потом плечи — бюст. Мой бюст как отражение бюста Сталина. Даже лица наши обладают известным сходством: поскольку у младенцев лицо старичков, как будто рождаемся мы на свет с лицом, к виду которого приближаемся всю последующую жизнь. Я, утверждал психиатр, стал жертвой условного рефлекса новорожденных: первый, увиденный новорожденным предмет, кажется им самым родным на всю жизнь. Неизгладимо запечатлевается в мозговых извилинах. И поскольку я увидел бюст Сталина, вылезая из утробы, из этого рая, в жестокий мир классовой борьбы, у меня в мозговых извилинах навечно зафиксировалось двойственное отношение к Сталину — любовь и ненависть. Сталин, мол, казался мне и родным отцом и олицетворением страшного мира вне утробы.

В своих извращенных измышлениях этот лже-доктор шел еще дальше и утверждал, что когда я оказался на демонстрации, на Красной площади (этот провокатор несколько раз подчеркнул, что площадь — красная), где кумаче-

вые трибуны Мавзолея отражались водоворотом алых знамен в толпе демонстрантов, я как бы снова оказался в ситуации роддома. Сталин на трибунах, как бюст на постаменте, а моя голова вылезает из толпы, как из утробы.

Не веря своим ушам, я слушал этого врача-вредителя: оказывается, я видел Сталина вверх ногами, поскольку механизм памяти якобы возвращал меня обратно в утробу, откуда я и увидел впервые товарища Сталина. А новорожденные, утверждал этот шарлатан от науки, видят все вверх ногами. Так, мол, у новорожденных устроено зрение. Этот враг народа от психиатрии пытался убедить меня в том, что моя бдительность на страже завоеваний социализма — лишь плод неудачных обстоятельств моего рождения. Неудачных?! Если я и покинул рай и уют утробы, то это был буржуазный рай и буржуазный уют, с которыми я расставался без сожаления для встречи со светлым миром советского общества, марширующего во главе с товарищем Сталиным семимильными шагами к коммунизму.

Но палач-изувер пытался заключить меня в смиренную рубашку буржуазных теорий. Я, якобы, перенес подсознательно амбивалентное отношение к Сталину на своего, якобы родного, отца. Комплекс, мол, самоубийцы привел меня к отождествлению с Павликом Морозовым. Привлекая иностранную терминологию с латинскими и чуждыми корнями, этот буржуазный гад втолковывал мне, что я страдал от кастрационного комплекса, подстегнутого садо-мазохистской легендой о Зое Космодемьянской — сублимацией моей матери, с которой я, утверждал этот извращенец, якобы совокупился, когда вылезал из ее влагалища во время злополучных родов. "Не тронь Зою, космополит!" — шептал я про себя, сжав зубы, выслушивая весь этот антисоветский бред.

Когда этот враг народа заявил мне, что я не Павлик Морозов, а духовный наследник некоего царя Эдипа, я понял, что меня пытаются завлечь в контрреволюционный заговор по восстановлению царского режима. Я бросился на эту контру и стал его душить.

С тех пор меня держат в смиренной рубашке. Но чте-

ние газеты "Правда" никто пока запретить не может. В последнее время я все чаще наталкиваюсь в "Правде" на упоминание имени товарища Сталина как руководителя всех наших побед. Это меня обнадеживает. Однажды даже поместили в газете его фотографию.

С сыновним чувством глядел я на эту мудрую улыбку из-под усов, прищуренные, усталые, но бесконечно добрые глаза. К сожалению, пришлось снова выворачивать голову, но как голову не выворачивал, Сталин на фотографии все равно выходил вверх ногами. Это потому, что на свете существуют еще враги народа, вроде моего горе-психиатра. Таким скоро не будет места в нашем обществе. Меня обещают скоро выпустить из больницы.

Марк ГИРШИН



РАЗВОД

Елена Андреевна имеет обыкновение приносить со службы ненужные вещи. В последний раз она вручила мне пригласительные билеты на открытие выставки средств связи, и два дня, вплоть до торжества, я носился с этими билетами, пока не пристроил их у себя на работе.

Вечером теща заглянула ко мне в комнату. Убедившись, что я никуда не ходил и валяюсь в обычной позе на тахте с книжкой в руках, теща закатила мне скандал. Ее возмущало, оказывается, мое равнодушие ко всему на свете.

Тем временем я с удовольствием дышал воздухом, который она принесла с собой из аптеки. Это был белый и стерильно чистый запах лекарств, напоминающий о порошках и жидкостях, которые я увидел на полках в прозрачных банках, когда единственный раз завалился к ней на работу, чтобы попросить немедленно приехать домой.

Я узнал, что в этот вечер Молли должна была подвергнуться операции у какого-то эскулапа, и хотел предупредить тещу. Однако мы с Еленой Андреевной уже не застали

Повесть публикуется с некоторыми сокращениями.

Copyright Марка Гиршина

Молли. Она вернулась не скоро, и едва я увидел жену, ее отрешенное лицо, как понял, что на этот раз со мной она покончила. А теща в конце-концов поверила рассказам дочери, будто Молли просто решила позаботиться о наших научных карьерах. У Елены Андреевны было убеждение: в чем, в чем, а в серьезных делах Молли с ней откровенна. Это убеждение стоило мне по крайней мере сына, потому что если бы теща придавала значение моим словам, мы поспели бы во-время.

— Романы читают в наше время одни старцы, а молодые все на улице, — сказала теща. — В одиннадцать часов я не могла протолкнуться.

— Вчера я вернулся, кажется, в два, — сказал я. — А сегодня мне хочется отдохнуть.

— Правильно, — подтвердила теща, — или ночью ты ходишь через мою комнату и не даешь спать, или на целый день приклеиваешься к этой несчастной тахте, и тебя не сдвинешь даже этим самым, которым сгребают камни на стройках...

— Бульдозером, — сказал я.

— Середины ты не знаешь!

Но раздражение Елены Андреевны я объяснил не только неудачной попыткой заинтересовать меня средствами связи. Теща не знала кое-чего значительно более важного, с ее точки зрения, — она ума не могла приложить, куда меня деть, поскольку после того, как Молли завербовалась на Крайний Север, даже ей стало ясно, для чего Молли разыграла эту комедию с научной карьерой.

Такие беседы я охотно поддерживал, мне была приятна забота тещи о моем будущем, я наслаждался ею, как будто меня грело солнце. Все же пришлось встать для того, чтобы подать теще телеграмму из Магадана, в ней Молли сообщала, что вылетела домой.

С этого момента началась какая-то чехарда, и я пришел в себя только на другой день в автобусе, следующем на аэродром.

Самым неожиданным во всей этой истории было не воз-

вращение Молли после длительного отсутствия и даже не удивившая молчаливая тревога тещи. Самым странным было мое согласие встретить Молли на аэродроме. Я так и представлял себе, что вслед за Молли по-медвежьи заковыляет по трапу малый в малахае и с рюкзаком через плечо, а в рюкзаке том полно денег, и что я тогда буду делать?

Любопытнее всего, что получилось так, как я и думал, только с рюкзаком была Молли, а малый с трубкой и в теплом берете нес чемоданы — один из них я узнал. Тогда случилось то, чего даже я не мог предвидеть: я выхватил чемодан у этого наглеца, а потом сдернул с Моллиного плеча чужой рюкзак, и все это было без единого слова! Затем я схватил Молли за руку, но она не могла и шагу ступить от смеха.

— Приходи завтра к зверинцу, хорошо? — вдруг просветленно сказала Молли, я, как заговорщик, еле заметно кивнул, и тут же возле нас оказались Елена Андреевна и этот Моллин спутник в берете и с рюкзаком, который он подобрал на летном поле.

Я направился на работу, но к концу лекции меня позвали к телефону. Когда я брал трубку, сердце мое билось как бешенное, я думал, что звонит Молли, но в телефоне раздался голос Елены Андреевны. Она настаивала, чтобы я отпросился с работы и приехал. И потому, что, кроме этого, она ничего не сказала, даже не упомянула о моем позорном бегстве с аэродрома, я понял, какое значение теща, с ее склонностью к коллективным мероприятиям, придает своей просьбе.

Все же я решил проявить характер. Вернулся домой далеко за полночь, и, сняв в коридоре туфли, на носках прошел через комнату Елены Андреевны в свою. Открывая дверь из освещенного коридора, я увидел стол с грязной посудой и бутылками и две головы на широкой кровати Елены Андреевны. Что-то отпустило меня. Должно быть, я ждал худшего.

Утром, едва стало светать, я поднялся и, шатаясь со сна, опять с обувью в руках прошел через комнату тещи, и тог-

да меня словно ударило обухом: я увидел, что Молли дома не ночевала. Я принял за ее голову шелковую подушечку, которую Елена Андреевна брала с собой в постель.

После этого я проделал следующее, буду перечислять в порядке последовательности. Надел в коридоре туфли, спустился на улицу, занимался с группой учащихся, расписался под телефонограммой с вызовом к начальнику управления, снова работал с группой, поставил английский замок на двери своей аудитории, как велел завуч. Затем я очутился на другом конце города, у зоопарка, и только теперь обнаружил, что до свидания с Молли еще целый час.

За этот час я успел несколько раз сказать себе, кто такая Молли, и у меня все еще оставалось время, чтобы сполоснуть лицо водой из фонтанчика в соседнем сквере, потому что по улице, которую выбрала Молли для нашей встречи, носились тучи пыли.

В условленное время я увидел яркое пятно в толпе. настолько яркое, что все остальное вокруг напоминало тени. Но я допускаю, что известную роль в моем ощущении сыграли цвета одежды, а также цвет Моллиных волос. Она схватила меня за руку и потащила к трамваю, говоря, что матч уже начался и мы опаздываем, и на ходу извлекла из сумки билеты.

Я взял из рук Молли билеты и хладнокровно разорвал их на ее глазах. Все, что она могла сказать, если бы была чуть менее поражена моим поступком, я прочитал в ее глазах, странно расширившихся и, кажется, отражающих каждый клочок, отправляемый мною в урну. Я спросил, где она ночевала.

— В санатории, — не сразу ответила Молли.

Я поднял ее руку и крепко поцеловал.

— А она взяла и уехала на Север, — сказала Молли другим тоном, я почувствовал на щеке ее дыхание, тогда я принялся за губы. Оттого, что помада оказалась размазанной, лицо Молли стало на миг растерянным и беспомощным. Это тоже мне кое-что напомнило, и я почувствовал себя несчастным.

Рядом с нами находился сквер с незаасфальтированными дорожками, откуда неслась на меня пыль, пока я ждал Молли. Сюда я привел Молли и сел рядом с ней.

— А ты как жил? — спросила она.

— Ничего.

— Мама говорит, что ты совсем разленился.

— Что остается делать? — пожал я плечами.

Я снова наклонился и поцеловал ее руку, потом шею и лицо. Теперь я почувствовал, что ее руки стали шероховатыми.

— Все это ни к чему, — сказала Молли. — Я не затем уезжала за двенадцать тысяч километров, чтобы начать все сначала.

— Но ты вернулась.

— В отпуск. И чтоб оформить с тобой развод.

— Чтоб оформить развод, не нужно было приезжать.

— Тогда считай, что я приехала из зоны вечной мерзлоты пожариться на пляже.

— Для пляжа еще рановато.

— Ты знаешь, что я не простуживаюсь, — сказала Молли, мельком взглянув на носовой платок в моих руках.

Я действительно легко простуживаюсь, чуть что, и, кажется, уже готов: болит голова и средце тоже начинает противно ныть. Я согревался только в постели, рядом с Молли, и утром чувствовал себя отлично, и где у меня сердце, лишь догадывался. Теперь конечно о чудодейственном лекарстве Молли я мог только мечтать.

— Зачем ты меня сюда позвала? — спросил я раздраженно.

С этого момента мною овладело странное ощущение, будто я веду этот разговор как бы из глубокого земного провала, на дне которого расположено несколько жалких в эту пору года акаций и сочится холодная струйка фонтана.

— Зачем ты меня сюда позвала? — снова спросил я.

И вдруг Молли просияла, будто я напомнил ей о сцене, доставившей истинное наслаждение.

— Не знаю! Скорее всего мне понравилось, как ты вырвал чемодан у моего попутчика.

— Эффектное зрелище, — согласился я. — Хорошо там, где ты? — продолжал я расспросы.

— Ой, что ты! У меня изумительная работа, там вот такие люди, я готова без конца рассказывать каждому о Севере...

— Но в семь в санатории ужин, — напомнил я и встал.

Однако Молли продолжала сидеть, опустив взгляд на свои ноги с открытыми и крепко прижатыми друг к другу коленями.

— Слушай, давай подумаем, что произошло, — начала она медленно. — Преподаватель какого-то училища. Станные споры с завучем, ты его кажется называешь "Леший"...

— Водяной, — поправил я. — Все это так: Водяной и прочие — это символы, с которыми мне приходится сталкиваться. За время твоего отсутствия они стали еще отчетливей выражать заложенную в них идею...

— Но если ты не в состоянии заложить в них свою идею, тогда может быть подыщешь себе более серьезное занятие? — с улыбкой спросила Молли.

Она все смотрела на свои колени, пока я говорил и, наконец, встала, с наслаждением потянувшись и, как бы проснувшись, огляделась вокруг. Неподалеку от нас видна была улица и на ней все, что полагается: транспорт, толпа и окна. Возможно, это была одна из последних или даже самая последняя минута, когда Молли еще меня слышала. И этой минутой я должен был воспользоваться. Но она опередила.

— А может быть, — задумалась Молли и посмотрела на меня с любопытством, — может быть, ты просто игрок, как те картежники, которые прячутся от милиции под грибками на пляже, говорят, они кантуются там даже зимой.

Перед тем как уехать, она поправила на мне шляпу, и, даже усаживаясь в кресло перед начальником управления, я все еще ощущал на себе эту шляпу, как будто Моллино прикосновение сделало ее невидимкой.

В глазах начальника управления я увидел свою характеристику в двух экземплярах, подписанную Водяным. У меня не появилось никакого желания оспорить ее, я привык, что меня не слышат, и просто внимал тому, что говорилось о моем тренажере.

К сожалению, предложение начальника сделать мой опыт программированного обучения достоянием всех училищ и осветить его в печати последовало, когда я успел уже основательно разочароваться в этом опыте, но несомненно, это был случай, ниспосланный свыше.

После уроков я вынул из шкафа программную машину и смел с нее пыль. Я увидел, как набирают малиновый цвет лампы, услышал сдержанный гуд разогретого трансформатора и даже почувствовал на лице тепло от этой машины. Это было тепло успеха, потому что я теперь уже знал, как с помощью тренажера могу быть услышан.

Я бережно спрятал его, сел в трамвай и поехал к Молли. Я ждал Молли в сквере, где мы были вчера и где на этот раз о встрече не улавливались. В душе я надеялся, что она догадается и придет. Так бывало когда-то, но на этот раз она не пришла.

Мне уже давно следовало сказать, что в жизни существуют лишь два предмета, которые занимают меня больше остальных. Один из них — это Молли. Я заехал к Елене Андреевне в аптеку, чтобы спросить, в каком санатории она отдыхает, но теща на миг дотронулась до моего рукава, как бы желая удержать меня от опрометчивого шага.

— Ты хочешь к ней поехать? — спросила она.

И вдруг я увидел слезы в глазах тещи. Впрочем они всегда появлялись, когда она была чем-то взволнована. Тут ее отвлекли покупатели, а я вышел из аптеки и, как сумасшедший, бросился в сквер: я подумал, что Молли могла туда приехать после ужина.

В сквере я провел весь вечер, пока приемник в каком-то из окон не передал полуночный бой часов.

Дома я обессиленно присел за стол, спать не хотелось. Этот тяжеленный стол стоит того, чтобы о нем сказать несколько слов.

Когда Молли еще жила с нами, мы всегда ели на половине тещи, привлеченные больше всего величиной этой реликвии, часть которой освобождалась от скатерти, чтобы поставить все, что полагалось для обеда на три персоны, включая вме-

стительную суповую миску. И все еще оставалось место для пепельницы и графина с водой, которыми когда-то, судя по рассказам Молли и Елены Андреевны, пользовался Степан Ильич, мой тесть, но уже давно не пользуется никто.

Теперь, несмотря на отсутствие Молли, все, как видите, оставалось по-прежнему. Правда, за стол мы садились уже вдвоем, да и то чаще всего в разное время, как сегодня, когда ел я один, а теща со своего конца стола смотрела неотрывно в мою сторону, но ругаюсь, меня не видела.

— ..."Для меня наступают трудные дни", — вот что я хотел сказать. Возле вас висит календарь, отметьте, пожалуйста, сегодняшнее число, оно мне еще пригодится.

— Пожалуйста, — согласилась теща, нисколько не удивившись моему желанию.

Спустя некоторое время на приколотом к стенке календаре я обнаружил обведенное чернилами число. Этот кружок напомнил мне о моей обязанности заправлять ручку Елены Андреевны. Я раскрыл ее портфель и увидел там заявление с просьбой предоставить нам освобождающуюся комнату соседей по коммунальной квартире. С этим заявлением в руках меня застала теща, и ей пришлось откровенно рассказать о своей затее. Оказывается, ей хотелось бы, чтобы я имел отдельную комнату, с отдельным ходом, был независим от нее, и это как раз такой случай.

— Но мне нравится моя комната! — ответил я.

Бывшая кладовая?.. Полищук даже хотел забрать ее у нас и держать там всякий хлам.

— Пусть кладовая, — повторил я.

— Не говори глупости! — сказала теща, но лицо ее неожиданно выразило просьбу, почти мольбу, поразившую меня так, будто я услышал ее последнее желание.

Несмотря на несомненные преимущества моего жилья, о которых у меня возможно еще будет повод вспомнить, сама по себе такая просьба была бы достаточно разумна, чтобы с ней согласиться.

В тот же день я вошел в аудиторию коллеги, занимавшегося у нас в училище жилищными вопросами, и положил перед ним на стол заявление.

— Ну что ж... Если тебе так хочется биться головой о стенку! — сказал он довольным тоном.

Спустя некоторое время он пожаловал в мою аудиторию.

— Кто еще претендует на эту освобождающуюся комнату? — спросил "коллега", (лучше всего его так называть, чтобы не приводить его настоящего имени.)

— По-моему, никто, — ответил я.

— Этого не может быть! Когда где-то освобождается площадь, непременно появляются претенденты.

Тон "коллеги" меня почему-то удручал, но я бы не сказал бы, что эксперимент был лишен интереса. Вообще же, мне предстояли и более неприятные вещи, я имею в виду открытый урок с демонстрацией тренажера, который должен был популяризировать идею программированного обучения, я уже говорил, что в нее не верю. Но все равно урок был запланирован с большой помпой. Кроме урока мне предстояло также написать статью для журнала.

Когда пришло время, я скрепя сердце дал урок и написал, точнее переписал статью со старой, сочиненной в дни увлечения тренажером. Я хотел незаметно передать ее секретарю начальника управления, но начальник увидел меня через приоткрытую дверь и пригласил в кабинет.

— Статью твою я отдам в журнал сам, — сказал он. — Я завтра вылетаю в Москву.

Дома я первым делом обвел в таблице число рядом с тем, что было помечено по моей просьбой Еленой Андреевной. Между этими двумя числами умещалось всего несколько дней, в течение которых я сделал трудное для меня дело. Теперь снова наступала приятная пора независимости, и я решил не терять ни минуты.

Я надел на себя все лучшее, из шкафа Елены Андреевны, причесался перед ее зеркалом и в таком виде появился в санатории у Молли. В этой одежде, которая была куплена для меня Молли и которую я после ее отъезда ни разу не надевал, я чувствовал себя не вполне уверенно. Мне казалось, что все вокруг смотрят: что-то на мне было не так. И это ощущение усилилось, когда я появился на волейбольной площадке и увидел Молли. Она подняла руку и кивнула, я понял, что мне следует подождать.

Молли подошла ко мне, принеся с собой чуть приторный запах пота. Я видел влажную ее кожу в ложбинке между больших грудей и не понимая, как это могло случиться, положил руку на эту не совсем прикрытую тельником грудь и на миг почувствовал ее прохладу и тяжесть.

Потом, опять же совсем для себя неожиданно, я сказал, что она не должна была лишать меня сына, в крайнем случае, могла бы сбежать на Крайний Север и попозже. "Ладно, пошли!" — перебила Молли и быстро направилась к корпусу, она произнесла эти слова таким тоном и так решительно двинулась вперед, как будто можно было еще что-то переиначить.

Молли оставила меня в палате и ушла, захватив халат. Спустя немного времени она вернулась, волосы ее были влажны после душа. Она вытащила из чемодана длинный костяной ножик и подала его мне, сказав, что это ее подарок.

— Таким ножом у нас режут строганину, знаешь, такая мороженная рыба берется. Потом ее режут обязательно костяным ножом тоненькими ломтиками, и они завиваются стружками, называется строганина. А вкусно! — сказала Молли — и конечно водка, — рассмеялась она.

— Дома ты решила пить водку, кажется, один раз, и тебе не понравилось, — сказал я.

— С кем поведешься, — ответила лукаво Молли.

— Все это мелочи, — сказал я, потому что подумал, будто Молли, ее недовольство в прошлом могли означать неясное еще ей самой томление по какой-то особенной обстановке, когда приобретают значение такие вещи, как форма срезов мороженной рыбы. Может быть, этой обстановки ей со мной и не доставало.

— Пиво ты еще не пьешь? — спросил я.

— У нас не принято.

— Куришь, конечно?

Вместо ответа Молли вынула из сумочки пачку сигарет и японскую зажигалку. Попросила достать авиационный бензин.

— Видишь, она по-моему уже коптит, — озабоченно сказала Молли.

— Чем ты там занимаешься? — спросил я.

— Заведую патентной группой.

— Квартира?

— Представь себе, пока общежитие. Но будет и квартира.

Играя зажигалкой, я сказал как бы между прочим:

— Может быть, поедешь домой?

Но Молли меня отлично поняла.

— Нет! — сказала она с улыбкой упрямства, которая у нее всегда появлялась, когда речь шла о серьезных вещах. — Я уже нашла то, что мне по душе.

— Ты можешь и ошибиться.

— Я не ошиблась.

Но вдруг она сказала, понизив тон и чуть покраснев:

— Если бы даже оказалось, что я ошиблась, я принялась бы искать в третий раз, а если нужно и в четвертый. Видишь, я с тобой откровенна. Но я не ошиблась.

— Чего же ты ищешь?

— Широты и размаха, соответствующих нашему времени. С Севера например я поехала бы в Бхилаи. Но только не это копание в мелочах! — с гримасой сказала Молли. Вот когда лишь выяснилось, как ей неприятна была, оказывается, моя возня в училище.

— У тебя мужской характер, — произнес я, меня задело это открытие, и я не особенно задумывался над тем, как будут звучать мои слова.

— Не все так думают, — серьезно ответила Молли. — Хочешь, я тебя с ним познакомлю? — вдруг вырвалось у нее.

На этот раз она стала пунцовой, но упрямо ждала моего ответа. Может быть, она хотела найти во мне подтверждение правильности своего выбора? И тогда я выбежал из палаты и помчался, куда глаза глядят. Ох, господи, ну сколько уж меня подводила моя чувствительность! Всегда после таких порывов я давал себе слово, что это в последний раз, и всегда что-то снова поражало меня, что я забывал обо всем.

Убежав от Молли, я увидел преферансистов. Эти кучки людей, облепившие грибки на пляже, мокрым и холодном,

наконец, привлекли мое внимание. Уже зажегся свет, но он падал не на лица, а на шезлонги, служащие полем для игры. Эти шезлонги, покрытые газетами, шариковые ручки, папиросы и карты стояли перед моими глазами весь вечер.

Я ушел почти вслед за преферансистами, оставившими после себя газеты, исписанные пастой разных цветов. Что давала им эта игра? Что?

На худой конец, я мог выучиться боксу. Возможно, в сложившихся отношениях с Молли это был даже выход. Познакомиться с ее избранником, как Молли предлагала, и уложить его первым ударом, это было бы в духе времени, я думаю, и меня бы утешило. Словом, бокс — это была идея, и я обо всем договорился со своим соседом Полищуком младшим, попросту Сашкой, и уже вечером тренировался в спортзале. Тренер, которого Сашка уговорил заняться мною, предупредил, что если бы я даже начал тренироваться как положено, подростком, все равно мне не удалось бы добиться заметных результатов из-за слабых кистей и медленной реакции. Обучить меня элементарным навыкам он все же взялся.

По дороге домой я увидел "коллегу", с женой — о чем можно было догадаться по одинаковому выражению их лиц — кажется, нашей выпускницей.

Дома меня уже, оказывается, ждала Елена Андреевна, на столе стоял чай в термосе, все как в старые добрые времена. Я уселся за стол, но есть конечно не стал, я был сыт.

— Что же произошло потом? — спросил я тещу.

Я пояснил, что имею в виду вопрос с кладовой, которую Полищук старший когда-то хотел отобрать. Я так и сказал "вопрос с кладовой". Это было семейное предание, о котором мне что-то говорила Молли, превознося заслуги Елены Андреевны, но я давно хотел услышать его из первых уст.

— Ничего. Степа не дал ему никакой кладовой, и все.

— Его волновала эта история?

— Ты хочешь, чтобы я спустя столько времени помнила такие вещи! — возмутилась теща. — Тогда было тяжелое

время, и я работала на полторы ставки. Кроме того, я постоянно избиралась в местком, забот у меня и без того хватало. Домой я приходила как мертвая.

— А производство ему ничем не помогло?

— С чем помогло?

— С кладовой, — кивнул я на свою комнату.

— Что это с тобой сегодня? — подозрительно оглядела меня Елена Андреевна. — Его производство только обещало, а толку никакого. Он вообще был такой легковверный. А Полищук уже поднял жилуправление, оттуда прислали инспектора, и инспектор составляет акт: кладовая должна принадлежать всей квартире. На беду дома был Степа, почему-то в тот день он вернулся с работы как все люди, вовремя. А я знаю, что не дай бог Степа догадается об инспекторе, скандала не избежать, он страшно вспыльчив стал из-за болезни и, вообще, проныру Полищука не любил. Кто там пришел, спрашивает. Я туда, я сюда, инспектора усадила в кухне, извинилась, у меня больной, сейчас, говорю, я вам покажу кладовую, только отправлю его к врачу. А Степу выпроводила с Молли в кино. Этот инспектор составляет акт. Я вижу, дело плохо, и к себе в местком медсантруда. В чем дело, говорю, я старый медработник, можете вы отстоять мои интересы? У меня отбирают кладовую. И что ты думаешь? Мои сослуживцы так взялись за дело, что никакой блат, никакие связи Полищуку не помогли, и он остался с носом. Но самое интересное, что Степа был уверен, будто это его Полищук испугался: его медалей, и ордена, и славы его завода.

...В воскресенье утром Сашка постучал ко мне.

— Завтракал? — спросил я.

— Да вроде... А в общем подожди.

Сашка сбежал к себе в комнату и вернулся с бутылкой.

— У тебя такого нет. Так я с диссертацией, — сказал он.

— Как это тебе удалось?

— Очень просто. Если руководитель, вот такой вот! — Сашка поднял вверх палец, — есть тема тоже дай-дай, в смысле актуальности...

— Кандидатский сдал?

— Проблема не в этом, — сказал Сашка. — Проблема, выясняется, в другом. Наши соседи выезжают, знаешь, конечно? Хочу оформить на себя их комнату, иначе диссертация горит. Ты знаком с моими? Без приемника и телевизора на полную мощность для них жизнь не в жизнь. К тому же на мою беду у бати, как у бывшей шишки в органах, миллион знакомых, и дверь не закрывается. Ты хоть помоги, прошу его, с комнатой, тебе это раз плюнуть. Нет, говорит, сам проси у советской власти, а я на пенсии.

— Что за органы? — перебил я Сашку, а в это время внимательно разглядывал вино, которое он налил в мой стакан. Это была густая, темноватая жидкость. В ней отражалась зажженная над столом люстра, все как в то пасмурное утро, и от одного вида содержимого стакана я почувствовал знакомые легкую тошноту и головокружение.

— Органы большой рыбы, органы беспозвоночных, органы, издающие поднимающиеся к сводам звуки и устанавливающие прямую связь с небесами,.. — произнес я скороговоркой.

Если бы не это словечко, которым он бравировал как мальчишка, хвастающий своим отцом перед сверстниками, и пожалуй, если бы не диссертация, которую Сашка считал нужным написать, потому что нынче их пишут все, и с которой ему никогда не справиться, как он не справлялся в школе с контрольными, написанными за него Молли, — если бы не эти две вещи, у меня не хватило бы решимости поколебать его уверенность.

Но его бравада, должно быть, фамильная черта Полищуков, настроила меня (в отличие от моего тестя!) довольно игриво. Сашке, оказывается, и в голову не пришло, что мне тоже может понадобиться комната, мне и Молли. И я сказал, что решил сам заняться этой же проблемой, авось получится.

— Дело твое, — разочарованно поднялся Сашка. — Как бы нам не помешать друг другу.

— Ты мне не помешаешь, — сказал я со всей доступной мне надменностью.

— Ты мне тоже.

Он старался говорить твердо, но так, как это делал я, твердо и небрежно, у него все равно не получалось. Видно, его серьезно огорчила эта новость. Ему предстояло как-то закончить визит, и я, не спуская с Сашки взгляда, гадал, как он это сделает. Если быть откровенным, я даже рассчитывал кое-чему у него поучиться. Бедный Сашка! Я понимал, чего ему стоят эти секунды.

— Где это Молли пропадает? — наконец, спросил он, но дожидаться ответа, с которым я не спешил, он уже был не в состоянии. Дверь за ним закрылась.

После этого я подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Глаза мои блестели от температуры, а лицо побледнело — у меня всегда так бывает при нездоровьи. Стакан, наполненный жидкостью, которая должна была отравить мне день, стоял нетронутым. Сашкин тоже был недопит.

Должен признаться, что уже не раз испытывал ощущение отравы при взгляде на вино. При этом обязательно, чтобы вино стояло в известной обстановке. Прежде всего я имею в виду ограниченное пространство, затем множество лиц, голоса и даже недостаточное освещение.

Не берусь объяснить причину, вызывавшую во мне эту стойкую и не совсем нормальную реакцию на обыкновенный стакан вина, реакцию, напоминающую длительное и тяжелое опьянение. Впервые обнаружил это в себе после выпивки на работе, не помню, по какому поводу. Скорее всего, это была премия или день полочки и кто-то из наших сотрудников был или в ближайшее время должен был стать именем.

Мы сдвинули столы, которые были у каждого из нас в учительской, накрыли их, чтобы на столах не оставались следы еды и питья — за этим придирчиво следил завуч — и уселись, довольно неудобно, потому что у столов были тумбы и каждому второму некуда было деть ноги.

Кто-то принес радиолу, кто-то сбежал в заводской буфет за тарелками и стаканами. Появились даже салфетки и горчица — тоже не поленились принести из дому, причем все это экспромтом и все одни мужчины.

Уборщиц, явившихся убирать помещение после занятий, отправили отдыхать. Мы были одни во всем училище. Наступили сумерки. Я запомнил небо, желтое от зимнего заката, и столбом вздымавшийся в небо дым из заводской трубы, напротив нашего окна.

Мы обступили бильярд, на котором на пари играл наш завуч Иван Гаврилович и молодой мастер. Я заметил, что завуч иногда незаметно делал два удара подряд, пользуясь тем, что кто-то отвлекал партнера. Один раз последний даже заметил это, но завуч в недоумении пожал плечами: "Да что ты выдумываешь! — хохотали окружающие. — Играй!" "Играйте, играйте!" — нетерпеливо говорил Иван Гаврилович. "Да откуда у вас пять шаров, когда у меня один!" — возмутился паренек. "Играй! — с восторгом, чуть не с улюлюканьем кричали вокруг. — Или выставляй проигрыш!" "Ребята, прижимал парень руки к праздничному, перепачканному мелом костюму, он натирал мелом кий, ребята, Иван Гаврилович, ну я же только что сам видел!" Это вызвало такой взрыв веселья, что парень оторопел. Как бы не веря тому, что с ним происходит, он смотрел на присутствующих, на их раскрытые рты, на машущие руки, и все вокруг выражало восторг и наслаждение неожиданным зрелищем. "Я сам видел..." — повторил парень, чуть не плача, и вдруг, сломав о колено кий, бросился к двери, но дверь была заперта. "Ну ладно, кончили, — подошел к нему завуч и обнял за плечо, — сломался кий, играть больше нельзя. Когда-нибудь в другой раз доиграем. Сели..." "Сели! — одобрительно загудели окружающие. — Чего ты полез в бутылку?.. Ну выиграл, ну проиграл, какая разница. Пари, это же шутка. Ты что, шуток не понимаешь?"

Казалось бы, этим эпизодом инцидент был исчерпан, но спустя некоторое время партнер завуча снова спросил:

— Ребята, скажите честно, ну что вам стоит, по два удара вы делали, Иван Гаврилович?

Завуч ответил: "По одному", но уже несколько раздраженно, и присутствующие, снова было настроившиеся на веселье, закричали, ладно, мол, тебе, дай провести вечер по-человечески.

— Не хотите сказать... — безнадежно пробормотал паренек.

Теперь я подхожу к самому необычному впечатлению, которое я вынес из этой вечеринки, которому суждено было приобрести такую власть надо мной в последующем. Я еще не сказал, что с наступлением темноты учительская, в которой мы собрались, стала вызывать во мне ощущение единственной реальности. Все, что оставалось за ее пределами, становилось все менее уловимым моим опьяненным сознанием и временами как бы исчезало. Это ощущение усилилось благодаря ударившему к ночи морозу, покрывшему окна белесой наледью и сделавшему их почти слепыми (а может быть, это было еще из-за неудачной попытки паренька-мастера вырваться из комнаты.)

Было бы наивно представлять дело таким образом, будто мы столкнулись с завучем взглядами — в его взгляде я прочел и тому подобное. Дело не в этом. Может быть, мы даже и смотрели друг на друга, но, повторяю, дело не в этом. Просто с какого-то времени я стал чувствовать, что от меня чего-то ждут.

Даже в молчании завуча я слышал требовательное ожидание ответа на вопрос, который со все большей определенностью представился мне таким: отдаю ли я себя, как другие, его воле или буду ей противоборствовать.

Это ощущение испытания, которому я подвергся, с каждым моментом укреплялось, несмотря на все попытки убедить себя в его недостоверности. Наконец, я решился проверить себя. Я подошел к завучу, правда, не совсем вплотную, а оказался как бы во втором ряду обступивших его, кричащих, перебивающих друг друга, в общем вполне нормально для выпивших людей ведущих себя мастеров, и спросил завуча о чем-то, — кажется, я даже пошутил по поводу какого-то пустяка. Так вот, завуч мне тут же ответил, причем подробно и обстоятельно и даже благожелательно, как будто я пришел в качестве неопытного педагога к нему за советом. Он словно бы искал контакта со мной после случившегося за бильярдом, вероятнее всего, чтобы разгадать мое отношение к этому случаю.

Наконец, еще одно происшествие окончательно убедило меня, что Иван Гаврилович ждет моего решения, хотя он всего-навсего кивнул мне через стол: "Ну как?..", желая, очевидно, выяснить, нравится ли здесь мне, человеку новому и до сих пор на таких вечеринках не присутствовавшему.

Я не знал, что ответить, и не помню, ответил ли, но когда я вслед за этим увидел себя в зеркале, висящем на стене, то обнаружил все еще не сошедшую с лица насильственную улыбку, искажавшую мой и без того довольно непривлекательный облик. Кроме себя, я обнаружил в зеркале теснящиеся на его небольшой площади розовые лица, орущие рты, потные лбы и глаза с восторженным блеском, причем обращенные в одну точку. Я знал, что этой точкой был Иван Гаврилович, которого зеркало не могло показать, поскольку он сидел сбоку.

Я видел себя целиком во власти этих людей, как бы чудом оживших, теперь, после того, как мое отношение к происшедшему обнаружилось, готовых по первому сигналу Ивана Гавриловича взяться за меня. В молчании вяло жующих ртов и овладевшем присутствующими утомлении я улавливал признаки ожидающего меня тайного и преступного судилища.

И вдруг я стал смутно улавливать какую-то надежду. Я, как лунатик, уставился на нижнюю половину окна. Она вся искрилась, покрытая льдом, как будто грани мороза освещались источником света, расположенным снаружи — в то время как настольная лампа, поставленная вдалеке от стола, чтобы ее не разбили, не могла освещать окно, ее свет, ограниченный стеклянным абажуром, освещал лишь небольшую площадь вокруг лампы, и не достигал даже стен. Это яркое сияние морозных стекол внизу окна, причем лишь одного, а не двух, имеющих в комнате, заронило во мне какую-то догадку, и я ринулся к окну, рванул его, так что посыпались стекла и меня ослепил фонарь, — когда я высунул голову наружу, мощный фонарь на стене под самым окном, — и я мигом превратился в обледенелый предмет, мимо которого ворвались в помещение студеные потоки.

И тут же, оглянувшись, я увидел усталые обмякшие фигуры в позах, выражающих апатию, с погасшими лицами, будто морозный ветер, хлынувший в учительскую — теперь она казалась совсем небольшой — странным образом превратил их в овощи.

В том, что происшествие мне не померещилось, я убедился на следующее утро, обнаружив застекленную толстым молочным стеклом раму, разбитую мною накануне, и следы свежей замазки на подоконнике. Я тут же зашел на склад и узнал, что обычного стекла нет, а есть только такое: кладовщица показала уже знакомое молочное стекло, идущее на непроницаемые простенки. И полагая, что я колеблюсь, выписывать или нет, сказала, что Иван Гаврилович час назад взял такое же, других не предвидится.

Еще одно подтверждение реальности случившегося со мной я получил тут же, столкнувшись у кладовой с завучем, или Водяным, как я стал его называть из-за необыкновенно гладкой и прохладной кожи рук, поразивших меня в раскаленной атмосфере вечера не менее всего остального, их прикосновение странным образом напоминало касание вещи, побывавшей в холодной воде, хотя моя рука после пожатия оставалась сухой.

Водяной поспешил поздороваться со мной как с человеком, с которым связано нечто большее, чем работа, но эта связь, кажется, не могла обещать мне ничего хорошего.

Впечатление от нашей вечеринки имело надо мной, по видимому, особую власть, потому что стоило чем-то расшевелить его, как я снова оказывался в плену настроения, мутного, как стакан темного, крепленного вина.

Как ни странно, лучшим средством против этого настроения является моя комната, о которой уже говорилось, что это, собственно, не комната, а бывшая кладовая. Она не имеет окна, и тот застекленный и забранный решеткой отдушник, который выходит на лестничную клетку, даже в солнечный день пропускает ко мне лишь мутный, густой поток. Я опять, как видите, не могу удержаться от сравнения со

стаканом крепленого вина в прокуренной комнате, — вот уж ненавижу это состояние! Однако, комната освещена неонами, суха, изолирована от внешних шумов, и стоит мне расположиться на тахте с одной из книг, наугад снятой с полки, а их там у меня совсем немного, только классика, — как я забываю обо всем.

Я мог бы и сейчас воспользоваться такой возможностью, но этому мешал приезд Молли, мне каждую минуту казалось, что вот-вот она войдет, и я ждал, машинально листая страницы. Поэтому я отправился в спортзал, там переоделся, размялся, затем надел перчатки и позанимался с грушей. С непривычки я быстро устал, зато вышел на улицу совсем другим человеком, все прохожие казались грушами, но обладающими способностью самостоятельно передвигаться.

Транспорт и пешеходы, так сказать динамичная часть улицы, и ее статичная часть, дома и магазины, а также светофоры развлекали меня по пути в ресторан при гостинице, лучшей в городе. Мне нужно было выяснить, смогу ли я заказать столик на две недели вперед: я рассчитал день отъезда Молли.

Оформив заказ и оплатив его, я вышел на бульвар — это тоже лучший район города, и здесь, чувствуя себя провинциалом, я провел некоторое время. Провинциалом, правда, я чувствовал себя и в ресторане, поскольку никогда не был в подобном заведении и обнаружил, что одет совсем не как другие.

Я несколько раз заходил в этот день в ресторан, пока не обнаружил, что начинать нужно с азов, со стеклянной вертящейся двери, которую я в конце-концов научился подтапливать так, чтобы она не била меня по пяткам, с дорожки, раскатанной от этой злополучной двери до массивной дубовой стойки, которой не коснулись никель и пластик, — она была старорежимно громоздка и чем-то напоминала стол Елены Андреевны.

На потемневшем лаке стойки тускло отражалось электричество, за стойкой восседало несколько идолов в галстуках, а рядом стояло трюмо.

Вот этот путь от двери до трюмо под взорами идолов мне нужно было пройти так, чтобы нигде не зацепиться за дорожку. Я это проделал, как уже сказал, не раз, и у меня это стало получаться не хуже, чем у других.

Наконец, я занялся своим туалетом перед трюмо. Я решил, что если подыму воротник плаща, то этим достигну двоякой цели: прикрою длинные кончики воротничка рубашки, каких уже не носят, а также придам собственному силуэту некоторый эффект.

Одновременно это трюмо стало и испытанием для меня; я должен был заставить себя стоять перед ним немыслимо долго, не задумываясь над тем, как это может понравиться идолам за дубовой стойкой. Один из них, как я со временем разглядел, был кассир аэрофлота, другой продавец газет. Свой товар он разложил на столике у входа, предоставив желающим возможность обслуживать себя самим.

Я провел вне дома почти целое воскресенье и возвращался в темноте. Такого со мной не было со времени переезда к Елене Андреевне. Я вспоминал это время, довольно приятное, и, насвистывая, подымался по лестнице. Мое окно, вернее отдушина, на этот раз вовсе не показалась мне ведущей в райский уголок. Она располагалась высоко над маршем лестницы и к тому же была вся в пыли — раньше это меня не смущало. Я вспомнил, что уже давно Елена Андреевна просит меня вытереть стекло со тороны парадной тряпкой, надетой на швабру. Сама она не может задирать голову из-за повышенного давления. Я решил сегодня выполнить ее просьбу, но мне помешал "коллега", который в пальто сидел у тещи и ждал меня.

— Твои соседи, оказывается, тоже добиваются комнаты, — встретил меня "коллега" проницательной улыбкой. — Я же тебе говорил: новая мебель в коридоре коммунальной квартиры — это первый признак надежды на получение площади.

Зачем он меня ждал я так и не понял. Он взялся за ручку двери, и тогда моя теща сказала жалобным тоном:

— Приходите к нам еще, пожалуйста. Хоть свежее лицо увижу в доме.

— С нашим завучем посвежеешь, — сказал "коллега",

и с некоторым удивлением я уловил его взгляд, снизу вверх, хотя мы были с ним одного роста.

По-моему, он ушел, чем-то недовольный, возможно, неосторожностью, обнаружившей его истинное отношение к Водяному.

Елена Андреевна о перемене в настроении гостя конечно не догадывалась и, очарованная обходительностью "коллеги", весь вечер донимала меня сравнениями с ним. Под это ворчанье, доносившееся из ее комнаты, я написал план урока, исключительно для того, чтобы доставить удовольствие

Водяному. Своим послушанием, однако, я напомнил завучу, что этот случай все же единственный за долгое время, и, обдав меня холодным взглядом, Водяной велел ежедневно являться с планом на утверждение. Это меня озадачило: по моим расчетам я мог уже позволить себе известную независимость.

Следующий случай с моим учеником, влипшим в одну историю, убедил меня, что я ошибся. Об этой истории я узнал на педсовете, куда "мой" был вызван из-за драки в общешкольной. Четверо сговорились и били одного. "Моего" среди хулиганов не было, но когда избитый смывал кровь над умывальником, он увидел случайно оказавшегося рядом "моего" и сказал подоспевшему коменданту, что этот его тоже бил. "Я тебя бил?.. — изумился "мой" и, улыбаясь "да, бил", сказал; "Если бы я тебя ударил, то ты без посторонней помощи сюда бы не добрался".

Я сидел и слушал, как "моего" допрашивали, и он в десятый раз рассказывал, как было дело, но ему говорили: "Врешь!" И все начиналось сначала.

Я видел алчные огоньки в глазах собравшихся, разгоравшиеся тем ярче, чем с большей решимостью "мой" отрицал вину, и все чаще слышалась угроза исключения.

Если бы он с первых слов признал несуществующую вину, присутствующие, хотя и ворча, но несомненно бы успокоились. Но он не мог этого сделать, это было выше его сил.

Господи, я весь дрожал, но я боялся заговорить. Что-то во мне подсказывало, что каждое мое слово в его защиту повредит ему больше его собственных. Мне даже показалось, что Водяной с любопытством поглядел в мою сторону, как бы надеясь увидеть поднятую руку. Но подобно Муцию Сцеволе, я готов был скорее испечь ее на радиаторе, у которого расположился (я чувствовал себя не совсем здоровым), чем поднять ее.

— Кажется, это его активист, — услышал я чью-то реплику, и опять Водяной уже почти требовательно взглянул на меня, выступи, мол, чего отмалчиваешься.

— Да нет, — сказал я, — ничего особенного. Когда-то он действительно кое-как мне помогал в сборке тренажера. Последнее время стал откровенным разгильдяем, — сказал я, стараясь даже придерживаться общепринятой в нашей среде лексики. — Откровенно говоря, после такой истории я его и видеть у себя не хочу.

В этом месте "мой" так резко вскинул опущенную голову, как будто замкнул на себе цепь.

"Не пройдет и суток, как вы трижды отречетесь от меня, — вспомнил я. — Не пройдет и суток, как вы трижды... Не пройдет и суток..." Это гремела кровь в висках, оглушительно, как жесть.

Так продолжалось страшно долго, и все это время жесть грохотала в моих висках, как будто меня и жесть трясло в кузове одной машины. "Даже ваш преподаватель, донесся до меня голос Водяного, даже он вами недоволен!" После чего я услышал неожиданно мягкое предложение: выговор, и не строгий, а обыкновенный. Мой парень, весь красный, снова поднял голову, чтобы убедиться, что он не ослышался.

И вдруг я услышал "коллегу". "Его бы оставить в училище условно, с лишением стипендии, и выселить из общежития, и то ценный подарок родителям к Первому мая!.." После этого "коллега" повернул измученное лицо к нам, и полилась гадчайшая речь о том, как много нынче случаев хулиганства и грабежей, совершаемых вот такими невин-

ными, и что он не рад новой квартире в Черемушках — так волнуешься за домашних, которым приходится в темноте возвращаться из вечернего института. "Вчера в "Известиях" как раз критиковался либерализм в таких случаях, и я не могу промолчать, у меня в аудитории кто-то систематически ломает замки в шкафах с наглядными пособиями, а там ценности на многие сотни, наверное, что-то стащили".

— Но это же предположение! — перебил я "коллегу".

Однако, он не ответил мне и тут же стал с жаром рассказывать, как учащиеся подделывают справки о болезни или притворяются перед врачом, и та их жалеет и дает справки десятками, и они возвращаются из поликлиники веселые, как из цирка, и вызывают из аудиторий дружков, иди, мол, прикинься, пойдем в кино.

— Опять вы преувеличиваете! — не выдержал я.

Но "коллега" продолжал, как будто мой голос застрял в осипшем горле, продолжая лить буквально на меня (он возвышался за моей спиной), лить этот зловонный поток, которому присутствующие внимали с удовольствием. Это был бальзам на их души, словно души эти были воспаленными стенками желудка, через который годами проходила однообразная, неудобоваримая пища.

Но это была лишь гипотеза. Действительность же как обычно оставалась конкретной. "Моего" попросили подождать в коридоре и принялись за меня, донимая со всех сторон репликами. Масса была за "коллегу" и против меня. Его считали эталоном преподавателя, и мне напоминали о его требовательности, о выпускниках, до сих пор благодарных за науку и прочее. Сам эталон вертел головой из стороны в сторону, но в его вмешательстве не было необходимости.

Я оправдывался, сколько мог, и наконец опустил на стул. Памятное окно, освещенное снаружи тем же фонарем, я всегда мог отворить, и должен сказать, что в прошлом, когда я оказывался в подобном положении, то мысленно так и делал: раскрывал, даже распахивал настежь окно, мысленно, повторяю, после чего в нашу прокуренную учительскую вваливались кубы воздуха и нравственный климат в ней и вне нее выравнивался.

Несколько слов, которыми Водяной подвел итоги дискуссии между мною и "коллегой", этого климата не выравнивали. Тогда я снова мысленно распахнул окно и замолк, глядя в сторону. Мое сердце колотилось под самым горлом, скоро оно начнет болеть, а, может быть, оно даже и болело, но я слишком был возбужден, чтобы разобраться в своих ощущениях. Единственное, на что меняхватило, так это предупредить совет, что сказанным я вовсе не желал оправдать хулигана, который вполне заслуживает, и что во всем, что касается "моего", я согласен с "коллегой". Я сказал об этом в присутствии "моего", которого снова позвали в учительскую и который своим появлением напомнил мне, что единственное средство помочь ему, — это ругать и как можно убедительней.

Решение было прежнее: просто выговор, несмотря на выступление "коллеги", вызвавшее всеобщий восторг. Я вышел вслед за "моим" из учительской, чтобы рассказать обо всем откровенно. Кажется, он мне поверил, но я понимал, что это ненадолго. Впоследствии он, по всей вероятности, решит, что я просто предал его, а потом захотел успокоить свою совесть.

Это предположение не оставляло меня вплоть до следующего дня, когда я снова увидел его у себя на уроке. Я, конечно, не мог знать, пришел ли он уже к столь несправедливому для меня выводу, потому что держал он себя, как обычно, а обычно он читал на моих уроках. Я позволял ему это делать, ибо то, что мы изучали, он всегда знал.

В одну из таких минут в аудиторию как ни в чем ни бывало вошел "коллега", и я, пораженный его великодушием, покорно выслушал все, что он мне наговорил в ухо: какими справками я должен запастись к заседанию исполкома, где будет рассматриваться мое заявление о комнате, наконец, зачем я торчу в училище вместо того, чтобы дневать и ночевать в управлении, организовывая в поддержку телефонные звонки.

— Хватай такси и мчись, а за группой я присмотрю.

— А Водяной?..

Ты ему очень нужен!... — пробормотал мне вслед "коллега", — как всегда, я чем-то его раздражал.

Я попал под дождь, и, пока добрался до управления, продрог, но здесь меня согрело — чуть ли ни с порога приемной — участие секретарши.

В прошлом году с ней случилась подобная история, она чуть с ума не сошла, пока все не закончилось. Но ей очень, очень помогли, и даст бог у меня так же будет.

Затем я попал к завкадрами, здесь все было куда строже, но и завкадрами, предупрежденная "коллегой", попросила посетителя подождать, без промедления вынула из сейфа мою папку с бумагами на исполком, и с этой папкой я отправился к депутату райсовета, который работал преподавателем в другом училище.

Депутат нашел, что акт обследования моих жилищных условий составлен недостаточно выразительно, и попросил одну из сотрудниц училища перепечатать. Сотрудница села за машинку, даже не сняв пальто, поскольку мы остановили ее уже на лестнице, был конец рабочего дня. Потом мне предстояло собрать подписи членов жилкомиссии под этим новым актом, я направился в разные концы города, в разные училища, и совсем незнакомые люди без колебаний расписывались, убедившись лишь, что первая подпись "коллеги" на месте.

Эти заботы занимали меня несколько дней подряд, и они были не единственными. Те, о которых я сейчас скажу, обьяснялись назначенной на ближайшие дни конференцией, на которой я должен был выступить с докладом.

К его подготовке мне следовало бы приступить давно, но даже теперь, когда до конференции оставались считанные дни, я все еще не мог заставить себя это сделать. Мне было бы намного легче, если бы я мог представить себе этот доклад как уступку управлению в обмен на содействие в получении комнаты. Но было бы совсем хорошо, если бы мне удалось вообще не писать докладов и не получать содействия. Но чуда произойти не могло. Окружающие старались, как могли. Поток их благожелательности подхва-

тил меня и спустя несколько дней доставил к дверям председателя исполкома, за которыми решался жилищный вопрос. Другой, но, должно быть, столь же плотный поток, доставил к этим дверям и Сашку, и мы с ним кивнули друг другу.

Спустя некоторое время "коллега", представлявший мои интересы на исполкоме, с весьма удовлетворенным видом вышел в коридор. Это был день моего триумфа — мне отказали.

Теперь я мог говорить с трибуны конференции, что хочу, не опасаясь упреков в неблагодарности, перед которыми моя чувствительная душа была беззащитна.

Когда мы стояли на улице с "коллегой", обсуждая событие, мимо прошли Сашка со своим представителем. Судя по их озабоченному виду, им тоже отказали. Мне оставалось лишь поблагодарить коллегу за хлопоты, и я это сделал с удовольствием.

— Стаканом смеси с конфетой в забегаловке ты не отделаешься! — сказал "коллега". — До следующего заседания у тебя еще есть время, чтобы достать армянский коньяк.

— Это безнадежно, не дадут мне комнаты.

Но "коллега" только похлопал меня по плечу.

— Что безнадежно, решаю я. У твоего соседа вообще нет никаких шансов. Выяснилось, что у них даже излишек площади. А при первом рассмотрении всегда отказывают. Иначе ты будешь ходить на исполком без всякого трепета, как в булочную. Плоховато только, что до сих пор не обеспечен звонок начальника. Но и это поправимо.

— Я бы не хотел...

— Обойдемся без тебя, — успокоил меня "коллега", отстраняясь у троллейбуса. — Я уехал.

— Я просто не хочу, — повторил я.

— Ладно, ладно, — и он влез в троллейбус.

Я остался на остановке со списками в руках. Это были списки работников нашей системы профтехобразования, нуждающихся в жилплощади, — коллега поручил мне перепечатать их в каком-нибудь машинописном бюро. Я брел

по улице в сумбурном состоянии. Было время обеда, и меня увлекла толпа, освещаемая солнцем. Если существует состояние, когда стираются грани между желаемым и нежелаемым, то для меня оно уже наступило.

Для того, чтобы прийти в себя, мне нужно было выспаться, и я дремал с открытыми глазами, машинально держась солнечной стороны. Понемногу я снова стал понимать, что если хочу выбраться на твердую почву, то должен забыть о комнате раз и навсегда. Но, как это ни странно, забыть я уже не мог. Эта небольшая комната, куда за все время я, может быть, лишь несколько раз заглядывал (когда открывалась из нее дверь в коридор), как-то незаметно оказалась мною обжитой. Я придвинул бы тахту изголовьем к окну, и дневной свет падал бы на раскрытые страницы, это первое, что пришло мне в голову...

В вестибюле ресторана, куда я отправился, я увидел себя, с очень бледным лицом. Это была бледность пьяного или даже больного человека, рядом с которым, как бы для того, чтобы продемонстрировать его недуг, вдруг появилась плотная фигура моего начальника, который, следуя к лестнице, ведущей в гостиницу, расположенную над рестораном, мельком взглянул на свое отражение в зеркале. Я до сих пор гадаю, узнал ли меня начальник, потому что ничего в нем не говорило, что он обнаружил в зеркале кого-то еще, кроме себя. На бульваре я снова увидел начальника, на этот раз в обществе нескольких лиц, с которыми он вышел из гостиницы и сел в поджидавшую машину. Вскоре я узнал у "коллег", что весь день начальник занимался зарубежной делегацией, и попасть к нему было невозможно, но завтра делегация уезжает.

— Его одолевает проблема кадров, — сказал "коллега". — Ему нужен по крайней мере один завуч срочно и два или три, если не ошибаюсь, в ближайшем будущем. Выходит, что идти надо тебе.

С помощью формулы "ты мне — я тебе" я легко установил, что намек был сделан "коллегой", чтобы заинтересовать меня такой возможностью, либо же чтобы избавиться

от хлопот, переложив их на меня. Вакансия завуча была еще одной перспективой, открывшейся передо мной с тех пор, как я стал руководствоваться формулой "ты мне — я тебе". Я должен был бы подумать, что мне может дать эта новая должность, но предмет, увлекший меня, не требовал долгих размышлений. Мне представлялась самая большая возможность, с которой я мог когда-либо столкнуться, и от того, как я ею воспользуюсь, зависела моя судьба.

Все это я представлял себе довольно отчетливо, но, как ни странно, визит к начальнику казался мне необходимым скорее потому, что позволял выяснить, видел ли он меня в гостинице и чем объяснил необычную мою внешность. Я замечал уже за собой эту особенность: внимание к вещам незначительным, в ущерб более существенному.

Я принес начальнику тезисы, и он опустил их на свой стол, сказав "добро" и положив сверху руку. Этот визит разочаровал меня, я не получил ответа на вопрос, интересующий меня больше других. Но вместе с тем каких-нибудь пять или даже три минуты, проведенных в кабинете начальника (потому что добрых две из них занял посетитель, зашедший подписать что-то) дали настолько богатую пищу для раздумий, что я не мог чувствовать себя разочарованным. На этот раз я в полной мере постиг совершенство идеально сконструированных фраз, и само по себе оно доставило мне, любителю слова, удовольствие, несмотря на то, что конструкция этих фраз не допускала никакой фантазии.

Начальник что-то черкнул в блокноте, спросил, как у меня с комнатой, и тут же начал набирать по вертушке номер. Однако на другом конце провода никого не оказалось, и начальник сказал, что он это сделает позже.

Дома я застал необычную сцену: теща примеряла новое платье, и у нас была гостья, "старая моя приятельница по медсантруду" сказала теща, знакомя нас. Приятельница опустилась перед тещей на корточки, подшивая внизу платье, и я ушел к себе. Но вскоре теща позвала меня.

— Твое мнение?.. — спросила Елена Андреевна, заметно волнуясь.

— Вам хорошо... У нас есть что-нибудь от головной боли?

В коробке из-под обуви, где хранились наши медикаменты, я наткнулся на какое-то лекарство, но это было не то, которое рекомендовала теща. Она сказала, что этим я тоже могу воспользоваться.

— Но здесь истек срок давности.

— Ищи другое или сходи в аптеку. Что я еще могу сделать?

— Муж бывало на меня нападал, что дома нет нужного лекарства, — грустно сказала гостья. — Здесь я немножко подобрала.

— Сейчас, Лиза!

Теща запустила руку в коробку и вынула таблетки.

— На старости лет я хотела бы почувствовать, что я семье ничего больше не должна! — изрекла она, и гостья снова опустилась на одно колено. — Я ненавижу готовить, — неожиданно призналась теща, — и с удовольствием перешла бы на ту нашу медсантрудовскую столовку с ее вечными "ячкашами", ты помнишь, Лиза?

Что правда, то правда, стряпней теща похвастать не могла, и Молли, которая знала лишь два-три блюда, была куда более искусным кулинаром, но я никогда не думал, что наши немудрые обеды из полуфабрикатов Елене Андреевне в тягость. Я вернулся к себе и здесь вспомнил о запахе духов в комнате тещи и Моллином джерси на кровати. Должно быть, Молли привезла из санатория это платье для стирки, а духи я объяснил присутствием гостьи.

Я проглотил таблетку, лег и закрыл глаза в блаженном бессилии болезни. Далеко-далеко раздавались голоса тещи и ее приятельницы, и скрип ткани, по которой проводили ногтем. Этот звук заставлял меня содрогаться от озноба. Потом передо мной появился Полищук-старший с переброшенным через плечо полотенцем. Его удаляющаяся по направлению к кухне мраморная спина с розоватыми пятнами, оставленными постелью, должно быть, поразила меня еще в первые мои дни в этом доме. Затем перед глазами появились перекрахмаленные простыни и пододеяльники, должно быть, причинно связанные с розоватыми пятнами на сонной

спине. Мое воспаленное тело скользнуло по этим ледяным простыням, и я опять задремал. И вдруг я четко представил себе, что духи могли быть и от Моллинного джерси и что я должен сейчас же подняться и выяснить, как попали к нам эти духи, с гостьей, или их источало Моллино платье, брошенное на тещину кровать и слегка потемневшее у воротника. Но сказать, зачем мне понадобилось это знать, я был не в состоянии, хотя отлично помнил, что как-то днем я почувствовал эти духи, и тогда едва не вернулся домой.

И вдруг болезненно громко теща сказала:

— Мы уходим на встречу с писателями. Ты, конечно, не желаешь?... Ах, да, ты ведь недомогаешь!

После этого я услышал очень странные звуки, вероятно, старушки смеялись. Потом они захлопнули дверь, очень решительно, этот звук заставил меня даже раскрыть глаза, но тут полоска света из тещиной комнаты словно обожгла их, и я снова погрузился в темноту. Задремал, обессиленный, после чего услышал щелканье ключа и голос Молли. В мгновение ока я был на ногах. Это получилось совсем неосмысленно, я стоял, прижавшись к стенке за дверью, ожидая, что Молли заглянет в мою комнату и створкой двери прикроет меня. Я не мог объяснить, зачем должен был скрывать свое присутствие, лишь в следующее мгновение, услышав голос мужчины, я понял себя. По всей вероятности подозрение преследовало меня с тех пор, как я обнаружил в комнате запах духов, просто я не отдавал себе в том отчет.

В то время как я дрожал от холода, стоя босиком на полу, мужчина продиктовал Молли пространную телеграмму-молнию. Создавалось впечатление, что он читает телеграмму, а не составляет текст. Так уверенно он диктовал главинжу на Крайний Север настоятельную необходимость дать согласие поставить подпись под предварительно согласованной характеристикой, и об этом своем согласии сообщить фототелеграммой.

— Но мы с ним не согласовывали характеристики! — почти закричала Молли. — Мы тогда вообще не догадывались, что она нужна.

— Толя для меня подпишет ее, — сказал мужчина, я до сих пор представлял его себе в малахае. — Для тебя, следовательно, он тоже подпишет.

Затем Молли ушла, должно быть отправить телеграмму. Во мне улеглось что-то, и я стал медленно приходить в себя. Я оделся, нисколько не стесняя движений, хотя каждый звук, производимый туфлями или клацающей пряжкой ремня, проходил по нервам, а от них к сердцу, трепыхавшемуся от слабости. Одевшись я пригладил волосы трясущимися пальцами и вышел на тещину половину. Но когда я увидел плешивого парня примерно моей комплекции, у меня, сам не знаю почему, опустились руки.

— Молли скоро будет? — спросил я, присаживаясь к столу, он черкал лист на другом конце стола и, скотина такая, даже не кивнул. А я сидел на кончике стула, как не знаю кто.

Я слышал, как стучали часы на его руке, и в голове моей было пусто как будто там помещался лишь механизм, фиксирующий секунды, и вдруг я встал с грацией робота, выполняющего заданную программу, подошел к этому субъекту и положил руку на его плечо, правую руку, потому что в единственном усвоенном мною приеме быт левой.

— Что это вы там пишете? — спросил я голосом уличного прилипалы.

Но он встал, и мне пришлось убрать руку, потому что он был длинный как свая, но когда сидел, этого не было видно.

— У вас еще не оформлена характеристика, а вы уже умудрились сдать кандидатский, — сказал я жалким тоном кляузытника. — Каким образом вам это удалось?

Снова застучали секунды, и это продолжалось долго.

— Хотите пакостить? — наконец, спросил он, и хотя голос его звучал бодро, я был уверен, что в этот момент перед ним рушился мир. — Тогда нам придется пересдать экзамены. Вас это устроит?

— Речь может идти только о ней, — объяснил я и снова увидел улыбку на его физиономии, довольно любезную. — Мне нужно, чтоб она осталась. Вас я отпускаю домой.

— Благодарю. Но, повторяю, она в этом случае пересдаст экзамены, только и всего.

— Если будет кому. После такой скандальной истории это не так-то просто, а отпуск кончается.

Господи, я вел себя, как злодей, и, главное, моя роль впечатляла.

— Подонок! — сказал он.

— Сам подонок.

— Подонок!

— Подонок это вы! — это я уже всерьез. — Вы сидите за моим столом и пишете моей ручкой!..

Я вырвал у него ручку и бросил ее на пол.

— Ждите ее внизу, если хотите, — сказал я. — Здесь вам нечего делать.

Он взял со стула свой головной убор и вышел. Это было поразительно, что он тут же вышел и что со стула он взял малахай, а не что-то другое. Кроме малахая, на нем была куртка с искусственным мехом, которую он не снимал в комнате. И тут же, как мне показалось, вошла, даже вбежала запыхавшаяся Молли, в руке у нее была какая-то толстая книга.

— О, ты дома! — удивилась она. — Что же мне Валерий ничего не сказал? Ты его видел? Я была уверена, что ты на работе.

— Я заболел, — сказал я. — А вообще здесь кто-то, кажется, сидел и писал.

Но соли моего ответа она не почувствовала; для таких, как Молли, важно только то, что говорит она, кем бы она ни была. Когда-то она так же прислушивалась ко мне. Но это у нее до первого разочарования.

— Ты знаешь, что в четверг я улетаю? Раньше срока. Потому что делать здесь больше нечего.

Она что-то выкладывала из чемодана, который привезла с собой из санатория, и что-то клала туда, книгу она тоже вложила в чемодан, и я увидел, что это курс лекций по физике. Важно, что это у нее до первого разочарования, повторял я себе.

— В котором часу отлет? — спросил я.

— В двадцать с хвостиком.

— А-а! — протянул я разочарованно. — Пойду лягу. Хорошо меня просквозило.

Через несколько минут Молли заглянула ко мне в комнату.

— Скажешь маме, что деньги на свитер я ей оставила на буфете. И пусть ищет только белый. Выздоровлявай!

Она устремилась к двери, мне и без того казалось, что Молли вся в полете. К тому же я услышал, как вслед за ней соскользнула со стола газета и с шуршанием опустилась на пол. Каждый шаг Молли я мог прервать, позвав ее. Но я этого не делал, все еще на что-то надеясь, как будто длинна тещиной комнаты была бесконечна. Эта надежда покоилась всего лишь на моем желании, чтобы Молли осталась.

Когда она приоткрыла дверь в мою комнату, просунув туда голову, надежда вспыхнула вновь и сердце, без того ослабленное болезнью, заколотилось, как будто я лежал выжимал над собой наш массивный стол. Эта надежда не исчезла даже тогда, когда Молли взялась за ручку двери и повернула ее, отчего раздался сухой хруст пружины. Затем должен был щелкнуть английский замок, но этого не произошло.

— Ну же! — раздраженно сказала Молли, она должна была произнести эти слова, пусть про себя, состояние полета, в котором она находилась, непременно должно было вызвать что-то подобное при встрече с препятствием.

— Слушай, что такое с этим замком? — спустя некоторое время спросила Молли таким тоном, как будто моя роль в этом доме сводилась к тому, чтобы подобные вещи не случались. Несмотря на этот тон, я тут же почувствовал облегчение, как будто стол, который до сих пор держался на моих вытянутых руках, я опустил себе на грудь.

— Ты можешь что-то сделать!

Она стала дергать дверь, а затем появилась в моей комнате, ужасно раздраженная. Оказывается, Валера ее ждет внизу — они должны бежать в институт. Чем с большей скоростью налетаешь на препятствие, тем катастрофичнее последствия, повторял я себе, просто, чтобы не забыть, как

я должен вести себя дальше в таком сложном и увлекательном положении. После этого спросил, не потрудится ли Молли выйти в соседнюю комнату, пока я оденусь.

Обстоятельства требовали, чтобы я оделся потщательней, несмотря на звуки, летящие из тещиной половины и свидетельствующие, что Молли в нетерпении швыряет стулья. И я оделся. Бесспорно, мне помог опыт, приобретенный в ресторане перед трюмо. Надевая запонки и завязывая галстук, а с этой целью я вышел к тещиному зеркалу, я делал это так тщательно, что можно было потерять терпение и в менее сложном положении, чем у Молли. Моего нахальства хватило бы и на то, чтобы побриться, но, к сожалению, я побрился еще утром. Однако, я наверстал потерянное, причесываясь, и хотя при этом не видел Молли за своей спиной, ее не показывало зеркало, — может быть, в это время она стояла у окна и кусала губы, — но я был уверен, что в ином состоянии она глядела бы на меня, раскрыв рот. Наконец, все было готово, я оделся, как в ресторан, и рубашка на мне была с коротким воротничком, когда Молли вдруг произнесла отчаянным тоном:

— Вот он идет!

Лишь тогда я понял, какой клятвой ее заставили поклясться и как она старалась этой клятве остаться верной. А когда она крикнула через запертую дверь: "Валерий, я никак не могу открыть, заел замок!" совсем, ну совсем уже другим голосом, прямо пело все в ней, — тут я стал, как та стальная пружина, которая с сухим треском сжималась, когда Молли зря теребила ручку двери. Я тоже весь сжался от этого певучего голоса, все во мне остановилось, как будто Моллин голос зафиксировал меня в таком положении.

И опять мне помог опыт, на этот раз работы с английскими замками, с одним из которых я немало намучился, устанавливая его в своей аудитории, и теперь тоже, правда, пришлось повозиться, но замок открыл.

Все это время Молли нетерпеливо дышала мне в щеку, как будто наши головы покоились на одной подушке, но

теперь это меня раздражало, потому что я желал получить все, все, а не иллюзию. И когда дверь наконец раскрылась и через порог ступил Валерий и затравленно посмотрел на меня, — раньше на меня, а потом на Молли, — я понял, что ничего, буквально ничего, мне не заказано, и, сделав шаг в сторону, скрестил руки на груди, как статуя Командора.

Молли взяла Валерия за руку, но он даже не согнул пальцы, чтоб ей удобней было держаться, так был озабочен, и даже не сделал шага к двери, а он должен был бы к этому стремиться хотя бы потому, что таково было желание Молли, стоявшей рядом с ним плечо к плечу, как в шеренге.

В конце-концов Молли требовательно посмотрела на своего Валерия и даже с возмущением дернула его за руку, и тогда он показал ей на часы: "В институт уже поздно..." — "Ну вот!" — И Молли с досадой уселась на стул. Она еще не знала, в чем дело, ее просто возмущала неудача, вот и все. А может быть, ее поразила растерянность Валерия, никак не ответившего на пожатие и вдобавок ни с того, ни с сего брякнувшего:

— Вот кому, собственно, мы обязаны необходимостью мчаться в институт.

А робот, запрограммированный мною, — ни слова, только длинный шаг к буфету, и бутылка на столе, та самая, Сашкина, неполная. Еще шаг к холодильнику, и на столе тарелка с чем-то. "Садитесь..." — едва раскрыл я рот и налил в стаканы. И так как я разместился против зеркала, то видел, что галстук мой и пробор безукоризненны, только лицо слишком бело, как от прямого удара в голову, но на сей раз это от болезни.

— Голоден я здорово... — с облегчением сказал Валерий и стал есть, а Молли только взгляд переводила с него на меня, но он привлекал все же большее ее внимание, и действительно, с чего бы ему так радоваться какому-то куску колбасы.

— Так какой же, собственно, необходимостью мы ему обязаны? — спросила Молли, на этот раз раздражение вызывал уже определенно Валерий, иначе она не стала бы повторять это его словечко "собственно".

Молли адресовала свой вопрос Валерию, но он замешкался с ответом, и ответил я:

— Я решил задержать твой отъезд.

— Интересно, — сказала Молли, и повернулась на стуле в мою сторону, отчего стул под ней заскрипел. — Каким это образом?

— Он хочет сказать, что мы сдали кандидатский минимум раньше оформления документов в заочную аспирантуру, и аннулировать результаты экзаменов, — объяснил Валерий.

— Плюю я на эти экзамены! — сказал в свою очередь я и потянулся через стол к этому субъекту, чтобы выяснить, что он может видеть со своего места в моей комнате. — Я хочу, чтоб она не уезжала, вот и все.

— Да? — с неожиданной горячностью откликнулась Молли. — Почему же ты этого не сделал раньше?!. Или ты только сегодня прозрел?

— Я все же думаю, что вы этого делать не станете, — сдержанно сказал Валерий.

— Я хочу, чтобы она осталась, — повторил робот.

— И ты думаешь, что твоего хотения достаточно? — спросила Молли.

— Это — боксерские перчатки, — сказал я как бы для того, чтобы помочь Валерию разглядеть их в сумраке моей комнаты, как раз напротив раскрытой двери. — А пыль на них оттого, что последние дни я не тренировался.

— Ты уже и боксером успел заделаться? — спросила Молли и живо заглянула в раскрытую дверь, но с ее места видна была лишь полка с книгами.

— Отчасти, — чрезвычайно удачно ответил робот, а я немножко покраснел.

Этому Валерию, видно, во что бы то ни стало хотелось ослабить впечатление, произведенное на Молли моими перчатками и грубым мужским желанием.

— Может быть, поговорим серьезно? — сказал он.

Он посмотрел на меня, потом на бутылку, почти пустую, потом снова на меня. В его руке очутились веером развернутые десятирублевки.

— Окажите любезность, а?

Молли же казалась бесстрастной, но если это и была личина, по всей вероятности, она немного успокоилась, обнаружив, что ее избранник оказался способным продолжать диалог и даже готов был что-то предпринять.

— Зайди напротив в гастроном, — подсказала она с наивным видом непричастности.

Но робот сработал безотказно, он тоже полез в карман и тоже вытащил оттуда, хотя и не веером и не радужные, но зато целую пачку недавней зарплаты.

— Не возражаю, — сказал я и протянул Валерию через стол свою пачку, так что наши руки, моя и Валерия, скрестились над столом, словно в них были не деньги, а карты, которые мы показывали друг другу, чтобы подсчитать очки. — Только может быть вы сами потрудитесь сбежать в магазин?

В это время в комнате каким-то образом оказался Сашка.

— Я же слышу, что здесь Молли! — обрадовался мой сосед.

Я перехватил Сашку на половине пути, вложил деньги в его руку и повел к двери, на ходу объясняя, что я от него жду.

— Не захлопни дверь, — предупредил я Сашку в коридоре, — иначе я не смогу вернуться в комнату, замок барахлит. Ты мог бы увести этого чудака куда-нибудь? Мне нужно с ней поговорить.

По-моему Сашка знал о том, что у меня произошло с Молли. В коммунальной квартире скрыть ничего нельзя, я даже допускаю, что он знал больше, чем я.

— Сделаю, — сказал Сашка и ушел.

А я вернулся в комнату, где Молли и Валерий вели негромкий и невеселый разговор. Итак, я снова перехватил инициативу, и Молли снова обнаружила тревогу. Я судил об этом по ее молчанию, впрочем, молчали и мы с Валерием, только он курил и я курил, и Молли придвинула нам пепельницу, нам, а не только ему.

— Это чудо! — не выдержала Молли. — Я никогда не думала, что ты способен на такое.

— Я хочу, чтобы ты осталась со мной, — осклабился я и

довольно злобно. — Ради этого я способен и не на такое.

После этих слов, сказанных за меня роботом, я покраснел вторично, вследствие чего мой цвет лица стал почти нормальным и таким оставался вплоть до возвращения Сашки. Я предвидел, что участием в моем деле Сашка ставит передо мной новую проблему, с которой я непременно должен буду столкнуться, когда возобновится наше соперничество из-за комнаты. Возможно, мне даже придется уступить ему, потому что я не в состоянии буду оплатить черной неблагодарностью, но дело того стоило.

Между тем Сашка выкладывал на стол свертки, а мы с Валерием сидели все так же молча, как спортсмены в последние минуты сидят перед ответственным матчем, наблюдая за хлопотами устроителей. Пробил гонг, и мы подняли стаканы.

С некоторым удивлением я обнаружил у себя желание подметить следы покорности на лице соперника, но вино сделало его чуть более заторможенным, я бы сказал, и больше ничего. Я же пил стакан за стаканом, совсем как Водяной и видел в зеркале напротив Сашку и себя, плавающих, с разинутыми ртами, и в зеркале еще оставалось место для затылка Валерия и Моллиного, несколько растекшегося по стеклу профиля, а также плоскости стола с остатками закусок, поскольку зеркало висело на стене наклонно.

Я могу лишь прибавить к этому упоминание о ставшей как-то незаметно приятной обстановке, в значительной мере благодаря Сашке и Валерию, который, к неудовольствию Молли, довольно откровенно угождал мне, и совершенно в духе этой обстановки он предложил мне и Сашке выйти для анекдотов в коридор.

Должно быть, Молли воспользовалась нашим отсутствием для того, чтобы привести себя в порядок. По крайней мере, когда я вернулся в комнату, она все еще поправляла прическу, а затем пыталась как-то унять жар щек, прикладывая к ним ладони.

— Ну, где там Валерий? — спросила Молли. — Пора ехать в санаторий.

— Он ушел, — ответил я.

— Как ушел?

— Очень просто. Не прощаясь...

— Ты меня разыгрываешь, — сказала Молли.

Я распахнул дверь в коридор.

— Убедись сама.

— А Сашка? — вдруг с надеждой спросила Молли.

— У себя. Сашка! — крикнул я.

— Я! — отозвался Сашка. — Кому я там понадобился?
Я ушел спать.

Тогда Молли стала искать что-то взглядом.

— Малахай Валерий попросил вынести ему в коридор, — объяснил я.

Молли вынула из сумочки сигареты.

— А я тебя еще когда просила заправить мою зажигалку, — сказала она ворчливо. — Дай мне спички.

Я выдернул у нее изо рта сигарету и ударил Молли по лицу. Но рука моя стала влажной, на ней остались слезы Молли, дань пагубной страсти, овладевшей ею в те времена, когда Молли впервые увидела смысл в темпе и успехе. Только теперь источником этой страсти был я, а не Валерий, и Молли оказалась смиренна и покорна. Я раздел ее в своей комнате и приник головой к животу, который для меня всегда олицетворял Молли, ее телесное обилие и щедрость. Однако неясный свет из запыленного окошка в парадную не позволил мне насладиться так, как если бы я видел ее живые краски, и я закрыл на миг глаза, чтобы представить густую белизну округлостей и синеватую прозрачность натянутой кожи на едва выдающихся костях таза. Я представил себе этот крупный таз вроде того, который нам показывали на уроке анатомии в школе, где-нибудь в анатомическом кабинете много лет назад, и должен сказать, что эта гипотеза была даже приятна, поскольку подтверждала надежность человеческого материала, который был моей Молли.

Она легла на мои простыни, еще недавно мокрые от пота. Теперь, высохнув, они пахли кисловатым, как пепельница, в которую когда-то стряхивал пепел Степан Ильич. Но спус-

тя значительное время этот запах согревшейся постели смешался с винным нашим дыханием, и тогда появилась Елена Андреевна, держа в руке малахай, который она подобрала у дверей.

— Понятия не имею, как он туда попал, — сказал я.

— Не знаю, мама, — подтвердила Молли.

Затем мы встали и вышли к теще.

— Знаете, почему я так задержалась после работы? В хронике смотрела замечательный фильм о подводной охоте. У тебя ведь тоже есть где-то ласты?

— У меня? — удивился я.

— Ты хочешь сказать, что скоро лето? — спросила Молли, обменявшись со мной взглядом. — И надо подумать, как его провести?..

В этом месте Молли, к большому моему сожалению, покинула меня, я был слишком ослаблен простудой, чтобы продлевать иллюзию так долго, как мне хотелось бы. Я уснул, а разбудила меня Елена Андреевна, она стояла надо мной и глядела, и от этого должно быть я проснулся.

— Я еду на работу, — сказала она. — Вызвать тебе врача?

— Да, — попросил я.

— А что это за деньги в вазочке на буфете? Была Молли?

С большим трудом я припомнил как Молли прикрыла мою дверь, пожелав выздороветь, и объяснил теще, что деньги Молли оставила на свитер.

— В термосе возьмешь чай, а я что-нибудь принесу, когда буду возвращаться, — сказала теща, на ходу надевая плащ.

Все же чай она мне подала, и я снова оказался в обществе Молли, которую представлял ее таз с табличкой сведений, могущих быть полезными школьникам, посещающим анатомический кабинет. Однако кроме прозрачных стен, сквозь которые виднелись скалистые контуры города будущего, и еле заметных трещин в известковом веществе таза, я ничего больше не мог представить. Все остальное удивительным образом напоминало класс, в котором я когда-то учился и который никак не мог быть помещением для занятий в будущем городе, хотя бы из-за парт, вы-

крашенных в дегтярно-черный цвет, с крышками, едва держащимися на одном шурупе и со множеством других запомнившихся примет. Единственным, что могло быть вполне отнесено и к классу будущего, являлось солнце, его было много и у нас в школе.

В дни болезни я сочинил письмо в редакцию журнала с просьбой не печатать мою статью. На конференции же я промямлил нечто противоположное ожидаемому, только мой тон и моя поза, страшно унылая, могли обнаружить, чего мне это стоило. Я больше не буду мучать себя воспоминаниями об этой конференции, тем более, что не в состоянии был замечать чего-либо, кроме того, что со мной творилось. Упомяну лишь об удивительном хладнокровии начальника, объявившего после моего выступления, что оно носило дискуссионный характер.

Теперь у меня остается время, чтобы рассказать о моей последней попытке встретиться с Молли, и о том, что за нею последовало.

Мне захотелось облечь нашу последнюю встречу в рамки, отвечающие ее характеру. Но увидев снова сквер, я испытал разочарование. Он был изрыт глубокой траншеей, над ней возвышался кран, используемый для укладки труб большого диаметра, а наша скамейка, единственная в сквере, на которой я планировал последнее объяснение, оказалась засыпанной грунтом. Только старая реклама госстраха, совсем поблекшая, оставалась на месте.

Если бы я мог, я провел бы эту встречу в духе рационализма, навешанном строителями, сбросившими стальные трубы на уникальную литую ограду, украшавшую сквер, и разбившими ее вдребезги. Одну из шишечек со стерженьком, отколовшемся от ограды, я поднял и, держа его как булаву, двинулся к остановке, откуда в последний раз появилась Молли. У меня даже готова была реплика, которой я должен был встретить ее предложение провести время где-нибудь, ну, скажем, в зоопарке.

— Когда родители давали тебе имя этой славной американки, — вот что сказал бы я, — они, должно быть, имели в виду что-то совсем другое.

— Ладно, можем не пойти, — согласилась бы Молли, на этот раз, учитывая характер свидания, она должна была бы быть более покладистой. — Но здесь тоже стоять не интересно. Да, чтоб не забыть! На, возьми ножик, не то я опять увезу его с собой.

Она вынула бы из сумочки костяной ножик, который давала мне в санатории, а я его забыл, выбегая из палаты.

— Размах и скорость, соответствующие нашему времени, — повторил я вслух, — теперь я познал эту формулу на себе. Я едва не получил комнату, чуть было не стал завучем и даже почувствовал на лице холодок от движения воздуха, подчеркивающего скорость моего собственного продвижения к цели. Но со мной перестал здороваться мой ученик, вот в чем дело. Плевать я хотел на такую математику!

— Раньше ты был вежлив, — удивилась Молли.

— Я и теперь вежлив, — ответил я. — Я пришел сюда совершенно трезвым и ни разу не ударил тебя по лицу, хотя она требует именно этого.

— Кто она?

— Формула. Математика. Называй этот стиль как знаешь.

— Все это не обязательно, — сказала бы Молли, с пренебрежением. — Ты по-моему чего-то не понимаешь.

Но продолжала она уже с сожалением:

— В институте ты был таким умненьким, всегда говорил что-то интересное. Мои девочки считали тебя вундеркиндом.

— Вероятно, потому, что фамилия моего отца была известна в нашем городе, — сказал я. — Но я и сейчас понимаю, что перечисленное мною вовсе не обязательно. Это так сказать те же сигареты и чашечка кофе после напряженного трудового дня. Главное это то, что ты едешь в Бхилаи, что тебе и твоему коллеге удалось прикрепиться к кафедре и что диссертации, написанной на берегах Ганга, невозможно не защитить. А если кто-нибудь с тобой не поздоровается, ты возможно этого и не заметишь.

— Слушай! — взмолилась Молли. — Идем в зоопарк или я еду укладывать вещи, у меня еще куча дел.

— Пожалуйста, с готовностью ответил я. — Я тебя не держиваю.

Но она не ушла.

— Ты мог получить комнату и стать завучем. Почему же ты не получил и не стал? — спросила Молли.

— А почему ты не подала на развод?

— Не волнуйся, я это сделаю. Но я решила последовать твоему совету и оформить его там.

— В Индии могут быть другие порядки.

— Пока я еду не в Индию, а на Север, где буду ждать визы, если мне ее дадут.

— Тебе ее дадут, — успокоил я Молли, после чего она коварно усмехнулась:

— Ты думаешь, у меня к тебе нет претензий? Ты мне обещал достать бензин.

Ее тон, тон примирения, если не ласковый, подсказал мне, что на этот раз Молли меня все же услышала. И вдруг, и вдруг, и вдруг я чуть не умер от радости.

— А если ты не поедешь?

Она вынула из сумочки сложенные бумажки, очевидно это был билет на самолет. Некоторое время Молли держала билет над раскрытой сумочкой, подняв ко мне лицо с отсутствующим взглядом. Наконец, она разжала пальцы. Билет упал в сумочку и Молли прижала защелку.

— И все, — сказала Молли, но теперь она меня видела.

— Всего три недели назад твоя медлительность с разводом сделала бы меня счастливым, — я весь похолодел, в такое состояние меня привели последние слова Молли. — Но сегодня я объяснил бы ее тем, что у тебя не хватило времени на это дело.

— Пошли тогда хоть в кино, — сказала Молли. — Зоопарк я из-за тебя уже пропустила. Теперь я его не увижу до конца своих дней. Но этот фильм я пропустить не хочу.

— Ты успеешь его посмотреть там.

— Ошибаешься, — возразила Молли. — Я уверена, что он у нас уже сошел с экрана. Мы снабжаемся в первую очередь всем, начиная с ананасов. Здесь их нет?

— Не замечал.

— А кино я пропустить не хочу.

— А собраться?

— Как-нибудь! Да, — вспомнила она, — что это с мамой? Она отказалась съездить для меня в воскресенье на толчок и даже покормить нас с Валерием перед отлетом обедом. Она говорит, что ей не хочется заниматься такими вещами. Тебе она готовит?

— Да.

— А кто эта Лиза, которой она теперь так загружена?

— Из "Медсантруда".

— Как?.. "Медсантруд"?..

Но моего объяснения Молли ждать не стала.

— В жизни бы не поверила! Ты не знаешь, что мама творила, если я чего-то не съедала.

— Знаю, — ответил я. — Когда ты уехала, она довольно часто рассказывала мне обо всем. И об этом тоже.

— Но раньше она вообще с ума сходила. Когда еще был папа. А с каким видом она приносила для меня полученную по талонам одежду! Но если она решила отдохнуть, я это приветствую.

— На днях я тоже что-то придумую, — пообещал я.

— Это ваше с ней дело, я не вмешиваюсь, — сказала Молли, и я понял, что разговор об этом с тещей у нее уже был. Ну, так в кино идешь?

— Извини, нет.

— Тогда...

И она церемонно наклонила голову и протянула руку. Но в ее руку я вложил стерженек от ограда.

— Это память, — объяснил я. — Вероятно, кроме твоего покорного слуги никто во всем городе не сожалеет о сквере с ржавой водопроводной трубой, из которой едва сочилась вода...

Однако, сбросив с себя оцепенение длительного ожидания, я понял, что кусочек ограды, который я все еще держу в руке, никогда не послужит для Молли сувениром, хотя бы потому, что слишком тяжел, но прежде всего, по той причине, что Молли все еще нет и, вероятно, не будет.

Я направился в кино, куда звала меня Молли, и взял в кассе билет. Но когда в фойе раздался звонок, приглашающий в зрительный зал, я вернулся в сквер. Это был последний шанс, который мог еще мне выпасть, учитывая время отлета Молли. Но в сквере ее не было. А дома не было Елены Андреевны. Теща вернулась позже, усталая и недовольная. Я был уверен, что ее настроение объясняется не только отлетом дочери на самое неопределенное время, но моей и Молли неудачей.

— Обещаю, — повинувшись потребности утешить Елену Андреевну, сказал я, — что от вас я никогда не уйду. Уж если только вы меня прогоните!..

— Хорошо, — буркнула теща, и выставила на стол чашки.

Я уже предвкушал неторопливую беседу, которая меня утешила бы, поскольку теща особым образом представляла в моих глазах Молли, но в этот момент раздался звонок и появилась к моей досаде приятельница Елены Андреевны. Я наскоро допил свою чашку и удалился. Смех и воркотня подруг чем-то меня раздражали, но я узнал, как Молли подымалась в самолет, оказывается бегом, и что ей, наверно, будет жарко в белом нейлоновом свитере, потому что в самолете ведь топят, правда? Если бы приятельница ушла, я заставил бы тещу, прежде чем лечь спать, еще раз повторить все, специально для меня. Но приятельница, испытывая мое терпение, не уходила, наконец, я услышал, как они, дурачась, укладываются в постель. Я позвал тещу, и она отозвалась недовольным тоном человека, которого отрывают от увлекательного занятия.

— Я приглашаю вас и вашу подругу завтра в ресторан, — сказал я.

Наступило молчание.

— Столик уже оплачен.

Кто-то из двух неуверенно хихикнул.

— Ты не можешь себе найти кого-нибудь помоложе?

— Я приглашаю вас! — крикнул я вне себя через стенку.

— Вас!

После этого шепот подруг я слышал еще долго.

Когда я вернулся с работы, обе меня уже ждали, готовые к торжеству. Мы вышли на улицу, я усадил своих дам в такси и скоро мы приехали. Но первое впечатление оказалось неожиданным.

— Здесь после "гражданки" был мой профсоюз, "Медсантруд"! — узнала Елена Андреевна, уверенно входя в вестибюль через вертящуюся дверь. — У двери стоял часовой, и мы показывали ему профбилет. Здесь помещалась уйма учреждений, а внизу была столовка, и сквозняки разносили по всем этажам запах каши...

Во время ужина мы поднялись с тещей наверх, в гостиницу, где она отыскивала комнату, занимаемую некогда отделом губисполкома, в котором служила. В этом месте стоял мой стол, показала теща. Здесь висел телефон. И вся картотека членов профсоюза "Медсантруд" помещалась в тоненькой папочке. Но я развернула ударную работу, и когда меня бросили на прорыв в шестнадцатую Госаптеку, мне уже было что оставить приеemнику. Вот такая стопка профдокументов!

Общество седовласых дам в черном создавало известные удобства, во всяком случае официант, совсем молодой, охотно исполнял все их желания. А желания были. Заказали оркестру даже "Полюшко-поле". Правда, песня прозвучала в джазовой обработке, что также как, например, сладкая селедка, было неожиданно и несколько разочаровывало. Зато мои спутницы нашли, что стоимость блюд лишь не многим отличается от столовской и тут же решили раз в неделю ходить в ресторан.

Возвращаться нам пришлось в троллейбусе, поскольку мои спутницы решительно запротестовали, когда я захотел отправить их домой в такси, — я не мог отказать им в удовольствии сберечь мои деньги. Мы с Еленой Андреевной проводили приятельницу, а затем вернулись домой. И тут теща взъерошила мои волосы.

— Остались мы с тобой старцами... Ну, будем разменивать комнату на две?

— Вашу? — спросил я. — Нет.

— Смотри, потом пожалеешь, — предостерегла Елена Андреевна. — Я согласна. Давай искать.

— Не хочу.

— Тогда раскрывай дверь из своей клетушки в коридор, а к твоей я придвину буфет. И больше ничего от меня не требуй.

— А чай?

— Ничего.

— А обед за общим столом?

— Даже речи не может быть. Иногда тебе придется вызвать мне врача.

— В ответ на услуги такого же рода, — сказал я.

Но прежде, чем пожелать теще спокойной ночи, я спросил, не передавала ли мне чего-либо Молли. Ничего, ответила теща, но ты не обижайся, потому что она не успела даже со мной толком попрощаться. Они до последней минуты находились в институте и едва успели на самолет. Им нужно было переоформить документы.

Вскоре я буфетом прикрыл дверь из тещиной комнаты в свою, а из своей открыл выход в коридор. Обособленность, однако, оказалась иллюзорной, потому что буфет никак не мог изолировать меня от тещи. Но благодаря буфету, а также тому, что эта кажущаяся обособленность все же ввела тещу в заблуждение, я узнал, что меня за все годы не посетила ни одна душа, лишь недавно приходили с обследованием жилусловий, и что только теперь Молли получает возможность жить полнокровной жизнью, а с "ним" она кроме четырех стен ничего не видела, и тебе, Лиза, я скажу вот что: лучше заботиться о чужих. От своих только разочарования! Я не могла допроситься, чтобы кто-нибудь из них пошел в управление связи насчет телефона. "Зачем тебе телефон, мама?" Да, да, да, сочувствовала Лиза. Дальнейшего я не услышал.

После ухода Лизы я взялся переписывать расписание звонков, поскольку мы с тещей пользовались одним звонком, и приходилось открывать двери многочисленным ее

посетителям. Некоторые из них, не застав тещу, отдавали мне заявления, адресованные члену совета домохозяйства, после возвращения Елены Андреевны с работы я приносил эти бумаги ей, и теща читала их тут же.

Вследствие такой перемены образа жизни ее комната стала, как мне кажется, напоминать служебный кабинет подотдела исполкома. Пол основательно затоптали, пепельница-раковина наполнилась окурками, я бы не удивился, если бы стекло в форточке оказалось выбитым и заклеенным газетой, скажем "Даешь Врангеля!". Всю эту картину освещала единственная лампочка под потолком, шнур которой был укорочен благодаря петле. Абажур, должно быть, теща выбросила, я не допускаю, что также она поступила с препаратом тестя, которого теперь нигде не было видно. Должно быть, его закрыли разложенные на буфете плакаты, напоминающие о необходимости выключать электро- и газовые приборы перед уходом из дому.

Я должен лишь разъяснить, что кое в чем я допустил вольность, хотя пепельница и плакаты действительно были. А вот шнур петель и форточка явились плодом моего воображения. Но эти подробности помогли мне понять причину перевоплощения Елены Андреевны.

Зато Водяной меня приблизил к себе. Едва я появился на работе после злополучного выступления на конференции, как этот властолюбец обдал меня водой, но не холодной, а основательно прогретой солнцем, как это и бывает весной, и я понял, что отныне он берет меня под свое покровительство. Может быть, этой перемены не последовало бы, если бы Водяной мог предвидеть желание начальника управления известить меня, что после обеда он будет на совещании в исполкоме и этой возможностью я могу воспользоваться, чтобы поговорить с председателем.

Я воспользовался и узнал, что комнату, на которую претендую, я не получу, она будет предоставлена другому лицу, имеющему больше прав. Мне же будет в ближайшее время отдана примерно такая же комната в другом районе.

А вот с "коллегой" все обстояло гораздо проще. Когда

я приоткрыл дверь в его аудиторию, мне открылась странная картина. За учительским столом я увидел "коллегу" и по обе стороны от него учащихся. Поскольку стул преподавателя был с высокой спинкой, а ребята сидели на обычных стульях, даже разница в высоте стульев создавала иллюзию мест судьи и заседателей. Расположение же ребят в классе подтверждало это первое впечатление, двое из них, очевидно, нарушителей, стояли особняком справа от учительского стола, другая группа, должно быть, обвинителей, заняла место слева, остальные расположились в глубине.

Я поспешил прикрыть дверь, как человек, неожиданно обнаруживший непристойность, но "коллега" выглянул вслед за мной в коридор, на его лице еще оставался убывающий огонь, который в нем вызвал этот спектакль.

А.И.РУБИН
СТАТЬИ О РУССКИХ ПОЭТАХ.
Из философского дневника

Издательство "Лексикон". Иерусалим
189 стр. Цена — 5 дол. с пересылкой

Автор (1888-1961) был философом и большим знатоком русской литературы и поэзии. Поскольку его взгляды не совпадали с официальной советской идеологией, его работы не могли быть напечатаны в СССР.

В сборник включены статьи о поэзии Пушкина, Тютчева, Лермонтова и Баратынского, статья "Что такое философия" и отрывки из философского дневника.

Сборник открывается биографическим очерком об А.И.Рубине, написанном его сыном Виталием (1923-1981) Заказы направлять по адресу:

J.Rubin. Gilo, 62-15 Jerusalem 93756. Israel



В 1986 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (Статьи, 143 с.)	6.00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	10.00
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 202 с.)	7.00
АЛЬТШУЛЛЕР, Марк, ДРЫЖАКОВА, Елена. "Путь отречения". (Русская литература 1953-1968, 352 с.)	16.50
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с, илл.)	8.00
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, П. ГЕНИС. А. "Современная русская проза". (192 с.)	8.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160с.)	8.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	5.50
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. "Искупление". (Роман, 160 с.)	8.50
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи, 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 с.)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	6.00
ДРУСКИН, Лев. "У неба на виду". (Избр. стихи, 230 с.)	9.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборник интервью, 120 с, илл.)	8.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	8.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	5.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (Философия истории, 250 с.)	7.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (Филос, 340 с.)	8 50
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ. Ю. "Мир автора и структура текста". (Статьи о русской литературе, 400 с.)	15.00
ЗАЙЧИК, Марк. "Феномен". (Рассказы, 184 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7.50
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ (352 с.)	13.50
КЛЕЙМАН, Людмила. "Ранняя проза Федора Сологуба". (220 с.)	14.00
КОРОТЮКОВ, А. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8.00
КРЕПС, Михаил. "Булгаков и Пастернак как романисты". (140с.)	9.00
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 с.)	7.00
ЛОСЕВ, Лев. "Чудесный десант". (Стихи, 150с.)	9.00
ЛУНГИНА. Т. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с, илл.)	12.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Маленькая Тереза". (Роман-жизнеоп., 230 с.)	9.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с, 20 илл.)	10.00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На рус, англ., фран., 140 с.)	8.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Звездопад". (Повести, 270 с)	12.00
РОЗИНЕР, Феликс. "Весенние мужские игры". (Пов., рас, 208 с.)	8.50
РЫСКИН. Григорий. "Осень на Виндзорской дороге". (2 пов., 200 с)	8.50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман об эмигр. 1970-х, 560 с.)	18.00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и др. товарищах". (140 с.)	7.50
СУСЛОВ, Илья. "Мои автографы". (Рассказы, 200 с.)	10.00
ТЕЛЕСИН, Юлиус "1001 анекдот". (220с)	10.00
ТИМОФЕЕВ, Лев. "Последняя надежда выжить". (Очерки, 200 с)	10.00
ЧЕРТОК. Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с, илл.)	7.00
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 200 с.)	8.50
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Стады, 256 с.)	7.00
ШУЛЬМАН, Соломон. "Инопланетяне над Россией". (208 с, илл.)	12.00

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P.O.Box 410, Tenaflly, N.J. 07670. USA

К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке 3-х и более книг — скидка 20%.



Михаил КРЕПС

МИЛЛИОН СПЕКТАКЛЕЙ ДВОЙНИКИ

Память оставляет двойников
В каждом из прожитых человеком дней.
Жизнь двойника ограничена его днем.
Двойник просыпается, ест, пьет,
Делает снова те же дела,
Произносит снова те же слова,
Дурачится, любит, несет чушь.

Можно вернуться в любой из дней.
Снова сыграть в снежки на школьном дворе.
Выпить с тогда еще малознакомой Маринкой
на брудершафт.
Поссориться с матерью из-за чепухи.

Нельзя появиться в другом костюме.
Не прийти на свидание, изменить слова диалога,
Не поднять руки на собрании, не поддаться на уговоры.
Выйти сухим из воды. Войти в ту же воду дважды.

поэзия

МИЛЛИОН СПЕКТАКЛЕЙ

95

Можно совершить моментальное путешествие
В любой день, любой час, любую минуту.
Не нужны билеты, деньги, слова.
Можно вернуться на пять минут,
Пять часов или пять лет.

Можно даже потерять весь сегодняшний день,
Путешествуя по уже прожитым дням.
Тогда сегодняшний день превратится в нуль.
Таких нулей к старости не перечесть.

Можно завернуть в какой-нибудь из дней
По дороге в другой. Можно проскочить
Целый сезон, неприятный период, пятнадцать лет.
Можно приехать на взгляд, прощание, поцелуй.

Правда, есть дни, которые следует избегать.
Есть дни, которые боязно ворошить.
Есть дни, в которые стыдно приезжать.
Есть дни, в которые страшно приезжать.
Есть дни, в которые невозможно жить.

Вместе с человеком память исчезает.
Вместе с памятью двойники исчезают.
Дети, подростки, взрослые — исчезают.
Глупые, умные, милые — исчезают.
Бедные, ревнивые, жалкие — исчезают.
Тихие, нарядные, бездарные — исчезают.
Скрытные, невнятные, дурные — исчезают.
Лучшие, веселые, родные — исчезают.
Любящие, нежные, нагие — исчезают.
Все, все, все — исчезают.

Потому
Чужие
Воспоминания —
Всегда
Полуправда.

ЕСЛИ БЫ ЖИВОТНЫЕ ЗАГОВОРИЛИ

Если бы животные заговорили,
Что бы они сказали людям?

Как бы повела себя черная пантера,
Увидев шкуру на полу жилища?

Что бы подумал слон многовесный,
Заметив бивень с дурацкой резьбою?

Что бы стал делать олень крупноглазый,
В вешалке признав рога собрата?

Отомстили бы человеку?
Попытались бы договориться?
Забыть старое? Начать новую эру
Мирного сосуществования зверей и двуногих?
Сделали бы вид, что ничего не замечают?
Ушли бы в леса, качая головами?

"Хитрый как человек," — говорила бы лиса.
"Кровожадный как человек," — говорил бы лев.
"Злой как человек," — говорил бы волк.
"Коварный как человек," — говорила бы змея.

А что бы стал делать человек голокожий,
Узнав, что животные заговорили?

Сжег бы свои священные книги?
Распустил стада, упразднил бойни?
Закрыв лаборатории и магазины?
Предоставил гражданство коровам и тиграм?
Ввел бы закон о всеобщем вегетарианстве?

Или бы началась первая мировая война
Между животными и человеком?

Если бы животные победили,
Ввели бы они законы о братстве?
Или, поменявшись с человеком местами,
Делали воротники из человеческой кожи?
Шили подстилки из волос папуасов?
Готовили жаркое из дамских ножек?

А что, если бы победили люди?

ЗАПАХ ОПИЛОК

Запах деревянной плоти,
Переходящей
Из лесной жизни
В домашнюю.

Как представить березе
Свое будущее существование
В форме шкафа?

Жизнь в доме
На правах почетного члена,
Которого помещают
В теплое удобное место?
Смотрят с обожанием.
Любовно гладят.
Кланяются каждый день.
Стирают пылинки.

Как представить старому шкафу
Свое будущее существование
На лесной опушке?
Переход из домашней жизни
В лесную?

Шкаф пилят на куски.
 Колют на части.
 Сжигают в печах.
 Выгребают пепел.
 Пепел в землю попадает.
 Вырастает береза.
 Смотрит на мир удивленно
 Узкими глазами.

Как представить дереву
 Свое будущее существование?

Все, что дерево видит, —
 Падающего собрата.
 Все, что дерево слышит, —
 Жалобы веток.
 Все, что дерево чует, —
 Запах опилок.

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Человечество платит мне черной неблагодарностью.
 Я создал его из праха.
 Я наделил его всевозможными качествами.

Страсть человеческая беспредельна.
 Мечта человеческая беспредельна.
 Низость человеческая беспредельна.
 Жадность человеческая беспредельна.

Доброта,
 Жалость,
 Любовь,
 Жестокость,
 Ревность,
 Гордость
 И т.д. не имеет границ.

Мне было грустно и одиноко в мире.
 Я создал человека, и мне перестало быть скучно.
 Мир из мертвой пустыни сделался для меня театром.
 Приобрел краски, характеры, емкость, свободу.
 У меня каждый день миллион прекрасных спектаклей.
 Фарсов, трагедий, драм, водевилей.
 А вы все твердите о добре и зле.

На дороге валяются золотые монеты.
 Хорошо это или плохо?
 Для нашедшего или для потерявшего?
 Любовь — хорошо это или плохо?
 Для счастливчика или для отвергнутого?

Человечество платит мне черной неблагодарностью.
 Время от времени появляются люди,
 Ратующие за братство, равенство, свободу.

Все люди и так братья.
 Все люди и так свободны.
 Равенство — это скука.
 Материальное и духовное равенство
 Знаменует конец беспредельности.
 Это противоречие в терминах. Это смерть.
 Уважаемые граждане!
 Нет Ада и Рая.
 Ибо и то и другое — скучно.
 После жизни смерть начинается
 Во всей ее многогранности и пестроте.
 Лишь меняются местами актеры и декорации.

Господа ревнители равноправия!
 Неужели вы думаете, что я соглашусь
 Каждый день смотреть один и тот же
 Скучный спектакль?

(Между прочим: вас обманули.
Древо познания добра и зла
Было просто яблоней.)

СЛОВО ПРОФЕССОРА ЛИТЕРАТУРЫ О КНИЖНЫХ ГЕРОЯХ

Пора смело взглянуть жизни в глаза.
Довольно жить в мире книжных героев.
Книги — это не жизнь.
Это — выдумка.

Герои литературы — лишь фантомы.
А мы ставим их живым в пример.
Через них оцениваем свои поступки
И поступки других людей.
Судим, оправдываем, клеймим, превозносим.

Сами того не замечая,
Мы попадаем из живой жизни
В зыбкую умозрительность.
Мы добровольно обманываем себя.
Мы не знаем ни света, ни черни,
Ни мужчин, ни женщин.
Вокруг нас — пустыня.
Мир книжных героев —
Всего лишь мираж.

Не было Анны Карениной.
Не было братьев Карамазовых.
Обломов — такая же выдумка,
Как и молящийся нос майора.
Не было ни Татьяны Лариной,
Ни Наташи Ростовской,
Ни тургеневских женщин,

Ни мужчин.
Ни лишних людей.
Ни униженных и оскорбленных.

Не было ни Иеговы,
Ни Моисея,
Ни Иисуса Христа.
Ничего не было.

Все началось, вероятно,
С какого-то необузданного фантазера,
Который подал дурной пример
Другому необузданному фантазеру
Как использовать не по назначению
Слово, которое было в начале.

Татьяна ФИЛАНОВСКАЯ

НАСТУПЛЕНИЕ ВОЗРАСТА

Провинциальный этот город,
Что мной до боли нелюбим,
Стук топора и птичий гомон,
Блеск листьев и мангала дым.

Прозрачный этот день весенний
Так бесконечно дорог мне.
И жизнь бесцельней и бесценней
Сегодня кажется вдвойне.

* * *

О безнадежный, мерный бой часов!
Как вражеские танки, по равнине
Они ползут, и нет таких лесов,
Чтоб задержали холод стали синий.

И нет таких оврагов и холмов,
Чтоб защитить от седины грядущей.
Железом времени каленое клеймо
Поставлено на каждом из живущих.

По правде? По любви? Или по лжи?
Величьем смерти вымерена жизнь.
О рабство времени!
О возраста печать!
Когда б могла сначала все начать!..

* * *

Я мама маленького мальчика.
А на дворе июль, теплынь.
И все загадочно, заманчиво,
И вечера еще светлы.

А надо мною серебристо
Зима взлетает и кружит.
Ко мне подходят Энджел с Кристел
И спрашивают, где Юджин.

Сын обращается к машинам,
Деревьям, птицам и реке
На обезьяньем, на мышином,
На воробьином языке.

Я объясняю по-английски,
Теряя нить и тень родства.
Мне нужен кто-то очень близкий,
Чтоб знать, что я еще жива.

* * *

В моем доме живет королева ресниц,
 Между нами дорога в сто тысяч страниц —
 Непрочитанных чувств и непонятых слез,
 Валаам, Колыма, Левитановский плес.

Между нами Нева, вечера подмосковные,
 Между нами родство, непонятное, кровное.
 Как мы странно похожи!

Словно в зеркале, в ней
 Вижу я отражение первой жизни своей,
 Той короткой, непрожитой, сданной в багаж.
 Позабытый мотив, утонувший пейзаж...
 Королевские джинсы лежат на песке,
 Королева читает на чужом языке.
 Между нами натающий, ладожский лед.
 Королева ресниц этих строк не прочтет!

АННЕ

Наступление возраста —
 Как наступление вечера.
 От дождя можно в дом,
 От любви — за ворота семьи...
 Надвигается возраста бесчеловечие
 На виски, на глаза и на плечи мои.
 Еще небо оранжево.
 Дали туманны.
 Сад души плодоносит,
 И совесть чиста.
 Но уже проступают видением странным
 Из тумана ажурные арки моста,
 Уводящего в вечность.
 Мне видится мама,
 Ленинград, и Васильевский остров, и дом.

Надвигается возраст,
 Наползает упрямо.
 Как река, постепенно покрываешься льдом.
 Праздник листьев и сумерек!
 Как мне ужиться
 В этом мире осеннем, где каждый чужой?
 Будет вечер густеть,
 Будет возраст кружиться,
 Словно коршун, кругами,
 Охотясь за мной.

* * *

Переписка стихами
 Разобьется,
 Как чашка из рук,
 Что бывает хрустальной,
 Чем песен непосланных
 Звук?
 Что бывает тревожнее
 Черт дорогого лица?
 Что не сказано вслух —
 На земле не имеет конца.
 Звон надежд,
 Илы марта.
 Молиться и ждать.
 Не умею на картах.
 На звездах могу погадать.



Ефим МАНЕВИЧ

НОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ: СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Незабываемой осенью 1972 года мы коротали теплые ночи в тель-авивском аэропорту Лод, встречая наших друзей и родственников из Советского Союза. Казалось, нескончаемый поток олим* никогда не иссякнет, и в прессе серьезно обсуждался вопрос о 800 тысячах советских евреев, намеревающихся выехать в Израиль.

В одну из таких ночей высокопоставленный чиновник израильского МИДа, ведавший делами советских евреев, пожаловался мне: "Сегодня у нас случилась большая неприятность, — сказал он. — Пятнадцать человек с одного самолета отказались ехать в Израиль".

Кто бы мог тогда подумать, что всего через несколько лет соотношение станет обратным, и абсолютное большинство евреев предпочтет Израилью другие страны.

Чтобы понять, каким образом это произошло, нужно задать более широкий вопрос: почему вообще советские евреи выезжали в Израиль?

К сожалению, большинство исследователей этого вопроса напоминают трех слепцов из старинной индийской притчи, которых подвели к слону и попросили описать, каков он. Один из них обхватил ногу и сказал, что слон толстый и могучий, как вековое дерево. Другой дотронулся до хобота и заявил, что слон тонкий и длинный, как лиана. А третий, прикоснувшись к бивню, решил, что слон тверд, как камень.

Алия из СССР началась из Грузии и Прибалтики. Именно из этих районов выехало наибольшее число евреев в 1971 — 1972 годах. Грузинские евреи принадлежали, как правило, к религиозным семьям, и многие из них имели родственников в Израиле. Еврейская культура, древняя и тем более идишистская, была им чужда.

Прибалтийские евреи, попавшие в лоно советской власти сравнительно поздно, все еще хранили в своей среде остатки знаний обоих еврейских языков (идиш и иврит), их приобщенность к истории и культуре своего народа была намного выше, чем у других групп. В то же время процент религиозных евреев среди них был весьма мал.

Следом за грузинскими и прибалтийскими евреями тронулись евреи из средней полосы. Эти в массе своей не были религиозными и о еврейской культуре имели весьма скудные познания, почерпнутые, в основном, из случайных рассказов.

Два фактора повлияли на их решение о выезде: антисемитизм и желание иметь национальную родину, которой можно было бы гордиться.

Возьму на себя смелость утверждать, что перечисленные группы, выехавшие в Израиль и почти не потерявшиеся в дороге, принадлежали к волне идеалистов.

К концу 1973 года эта волна практически спала, дав Израилью примерно 80 тысяч вновь прибывших. Затем наступил перелом, и причин для этого было несколько.

Во-первых, лицо Израиля после войны Судного дня резко изменилось. Вместо уверенной в себе и смелой страны, с большим материальным достатком, верой в завтрашний день и монолитным руководством, Израиль неожиданно предстал перед миром рыхлым, растерянным, раздираемым внутрен-

* Олим хадашим — новые эмигранты. Алия — эмиграция в Израиль

ними противоречиями. Уровень благосостояния населения резко упал, а большие жертвы, понесенные в войне, оставили глубокие раны во многих семьях. Нужно еще хорошо знать ментальность израильтян, привыкших сообща переживать горе друзей и соседей.

Во-вторых, результаты выборов 1973 года показали, что новоприбывшие из СССР склонны отдавать предпочтение правым, несоциалистическим партиям. Поскольку Министерство абсорбции находилось в то время в руках партии Мапам, близкой к коммунистам, можно предположить, что и оно приложило руку к прекращению алии, способствуя селективному отбору вновь прибывших по их политической принадлежности.

Для западного читателя такое утверждение может показаться диким. Чтобы не быть голословным, приведу два примера из личного опыта.

В 1972 году я попытался поступить на работу в авиационную промышленность. Успешно пройдя интервью по профессиональному признаку, я был признан реальным кандидатом, и меня попросили представить все необходимые документы. Случилось так, что в то же самое время я получил приглашение на встречу с членами партии "Херут", возглавляемой М.Бегиным, в кафе "Таршиш". Кафе принадлежало Мати Шмулевичу, когда-то приговоренному англичанами к смерти за подпольную деятельность. (Позднее М.Шмулевич был начальником канцелярии главы правительства М.Бегина.) На той памятной встрече присутствовали многие узники Сиона, бывший министр транспорта Хаим Ландау и нынешний министр иностранных дел Ицхак Шамир.

Не зная дорогу в Яффо, где находилось кафе, я решил справиться о ней у работника, занимавшегося моими документами. Подозрительно рассмотрев приглашение, он вдруг мне сказал: "Если ты хочешь работать в авиационной промышленности, поменьше ходи на такие сборища". В результате на работу я принят не был.

Второй пример. В 1973 году проверенным методом ускорения решения квартирного вопроса был заказ заграничного

паспорта, который запрашивали обычно в связи с намерением покинуть Израиль. В этом случае в вашем доме тут же появлялись старички-добровольцы и начинали сулить золотые горы, только, чтобы не уезжали. Моим друзьям, ныне живущим в Бостоне, буквально за день до их выезда из Израиля предложили прекрасную квартиру почти в самом центре Тель-Авива. Мой квартирный вопрос стоял особенно остро, ибо откликнувшись одним из первых на призыв тогдашнего министра финансов Пинхаса Сапира поселиться во временных квартирах и не зная еще, что самым постоянным явится именно временное решение вопроса, я с женой и двумя детьми попал в ужасную развалюху, где крыша практически не задерживала дождь, а санитарный врач грозил штрафом и тюрьмой за протекающую канализацию.

Отчаявшись получить постоянное жилье, я заказал заграничный паспорт по примеру моих бостонских друзей.

Ждал я — ждал, но старички-добровольцы не появлялись. Тогда я сам пошел на прием к начальнику тель-авивского округа Министерства абсорбции Саги. Приняла меня его референт, улыбчивая молодая дама, выслушав мои просьбы, она покопалась в картотеке и неожиданно улыбка сошла с ее лица. "Ты заказал паспорт?" — спросила дама. Услышав утвердительный ответ, она заявила: "Ну, вот и езжай отсюда. Квартиры ты не получишь". Уезжать я не помышлял, и только вмешательство известного журналиста, знавшего меня лично, помогло моей семье выйти из тяжелой ситуации.

Таким образом, в стране, где партийным является все: банки, больницы, спортивные клубы, детские сады и санатории, возможность селективного отбора олим по партийному признаку вовсе не исключается.

Возвращаясь к начатой теме, укажу третью причину спада алии в Израиль к концу 1973 года: к этому времени основная масса идеалистического потока иссякла. Начиная с 1974 года и далее, из СССР начал выезжать, если его можно так назвать, второй эшелон евреев, для которых Израиль если и был дорог, то в основном издалека.

Как свидетельствуют данные одного из социологических

опросов, проведенного в США в 1982 году,* сто процентов москвичей заявили, что хотели избавиться от антисемитизма, а 83,3 процента хотели жить в свободной стране. Лишь 8,3 процента из их числа назвали причиной отъезда желание дать детям еврейское образование.

Характерный факт: опрошенные происходили в основном из Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, Львова, Одессы, Харькова, Ташкента. Единственный прибалтийский город, фигурирующий в отчете, был Рига, известный своей сильной русификацией и вытеснением коренных жителей. Территориальное деление участников опроса, таким образом, косвенно подтверждает мой тезис о том, что идеалистической была лишь первая волна, состоявшая в основном из прибалтийских и грузинских евреев.

Но ведь и после 1974 года советские евреи продолжали прибывать в Израиль. Те, кто много лет прожил в Израиле, хорошо знакомы со спецификой этой волны. Ее главной, характерной чертой была неспособность прибывших на ее гребне объяснить, что их привело в Израиль, и тайное сожаление об упущенной возможности побывать в Риме на казенный счет. Да простят меня эти честные и прекрасные евреи, никакого упрека, а тем более пренебрежения в этих словах нет.

К этому времени в СССР оставалось 164.881 неиспользованных вызовов.** Давайте зададим себе вопрос: если эти евреи действительно намеревались покинуть СССР, кто мешал им воспользоваться имевшимися у них вызовами? Ведь к тому времени от слова "Израиль" в СССР перестали шараться, выезд стал делом привычным, да и препятствий особых со стороны властей у большинства отъезжающих не было.

По-видимому, израильский заезд 1974 года представлял собой остатки инерционной волны. Люди ехали еще и потому, что уехал сосед, друг, родственник, но осознанную мотивацию мало кто имел.

* И.Левков "Новые американцы в анфас и в профиль", "Воемь и мы" (№№ 68, 69, 70).

** Здесь и далее используются статистические данные, предоставленные автору Имануэлем Шенкарем.

С другой стороны, начала работать обратная связь, установленная через письма в СССР. Тон и содержание их в то время были почти поголовно отрицательными. Израиль — это страна, в которой государство вторгается и стремится опекать все стороны жизни гражданина.

Абсорбция вновь прибывших осуществлялась путем диктата, грубыми бюрократическими методами. Отсутствие разработанных планов и методов абсорбции привело к тому, что расселение людей не сочеталось с наличием рабочих мест, и наоборот. В результате первые годы абсорбции привели к глубокой травме многих семей, от которой они не оправились и по сей день. Инициатива вновь прибывших искусственно подавлялась.

Вместо того чтобы дать группам вновь прибывших опытных руководителей, готовые планы строительства и отпустить средства, органы абсорбции посылали олим в скученные районы, где человек быстро засасывался рутиной, и его былой энтузиазм медленно угасал.

С другой стороны, машина государственной пропаганды охотно взяла на вооружение тезис о якобы тяжелом бремени алии на бюджете страны. Это привело к откровенной неприязни со стороны коренного населения к вновь прибывшим. Обычной фразой тех дней, обращенной к нам, была: "Вы живете за наш счет".

Это утверждение, однако, было заведомой неправдой. В конце 1972 года банк Леуми исследовал вопрос о рентабельности абсорбции. Результат был ошеломляющим: оказалось, что вложение в абсорбцию приносило до семнадцати процентов прибыли уже в первый год, и это капиталовложение было признано одним из лучших в экономике. С другой стороны, из-за рубежа, в основном из Америки, поступали огромные средства на абсорбцию евреев в Израиле.

Многие выходцы из СССР, приехавшие в 1972-73 годах, имеют в своих архивах письмо за подписью американского посла тех лет Кенета Китинга, которое разъясняло, что их абсорбция была оплачена из средств американского народа.

Чувствуя щедрость дающего, тогдашний министр финан-

сов Пинхас Сапир заявил, что абсорбция одного оле обходится казне в 30 тысяч долларов. Автор этих строк в то время публично предложил сделку: отказ от основного капитала в 120 тысяч долларов (нас было четверо) взамен на выплату лишь годовых процентов с этой суммы, что составляло тысячу долларов в месяц при десяти процентах интереса. Даже теперь на эти деньги можно прекрасно прожить в Израиле, а уж тогда это было целое состояние.

Помню, кто-то из вновь прибывших задал тогда же Сапиру ехидный вопрос, не включил ли министр в эту сумму стоимость танка, в котором этот еврей ездил в армию?

Все эти факторы и привели к тому, что многие из тех советских евреев, кто подумывал о выезде, решили отложить эту затею. Но вызовы в СССР продолжали поступать, и в результате накопились те самые 400 тысяч человек, которые якобы желают выехать из СССР и о ком сегодня опять заговорили на страницах западной прессы.

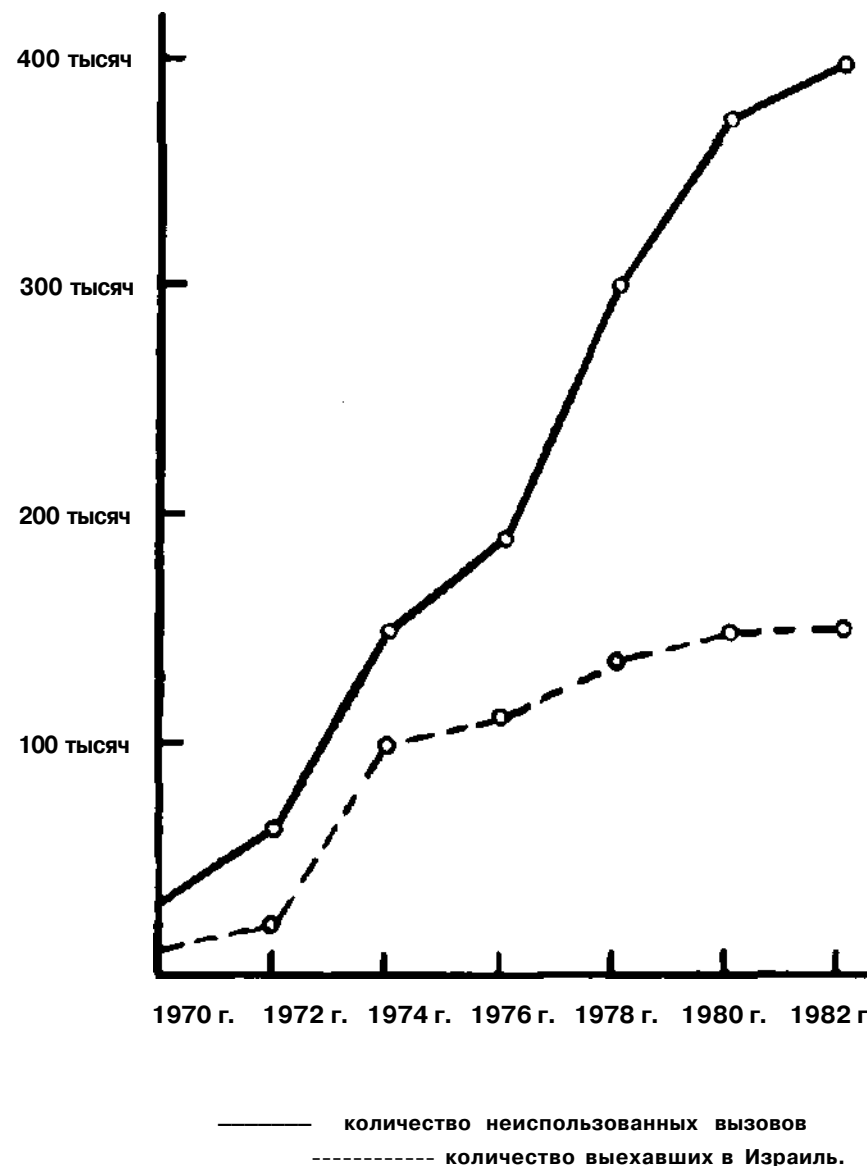
К сожалению, те, кто упоминают эту цифру, просто выдают желаемое за действительное, или, что гораздо хуже, сознательно вводят в заблуждение еврейские общины мира.

Рассмотрим простую статистику, отражающую связь между количеством неиспользованных вызовов и числом выехавших за 1970 - 1982 годы. Эти данные представлены на графике, где сплошная кривая дает число неиспользованных вызовов, а пунктирная показывает количество выехавших. Как видно из диаграмм, количество неиспользованных вызовов росло за тринадцать лет гораздо быстрее, чем число выехавших. Почему бы это вдруг положение должно измениться именно теперь, и все 400 тысяч евреев, которые раздумывают уже больше десятилетия, вдруг решат отправиться в Израиль? Для такого поворота событий нет абсолютно никаких оснований.

Сегодня Израиль не в состоянии принять не то что 400 тысяч, но даже и 40 тысяч человек.

Во-первых, тяжелый инфляционный процесс заставил правительство прибегнуть к суровым экономическим мерам. В результате бюджет был сокращен на двенадцать процентов,

Статистика отправления вызовов и выезда из СССР



безработица достигла восьми процентов. Строительство в частном секторе резко замедлилось, а в общественном — заморожено вообще.

Во-вторых, как показали результаты уже упоминавшегося опроса, среди выехавших в Америку 51,5% составляли люди с техническим образованием (34,5% — инженеры, 6,2 — техники), а среди остальных 48,5% — служащие. Среди всех выехавших рабочие насчитывали всего 10,7 %. Подобный состав вновь прибывших способен создать для Израиля неразрешимую проблему.

Более того, сейчас здесь прилагаются большие усилия для того, чтобы вернуть в страну примерно 7-9 тысяч инженерно-технических работников, бывших израильтян, находящихся в Америке. По данным Института технологических прогнозов при Тель-Авивском университете, число инженеров среди них составляет от 3500 до 4400. Совершенно очевидно, что в связи с языковой проблемой и разницей в технической подготовке Израиль гораздо больше заинтересован отдать возможные рабочие места бывшим израильтянам, а не новоприбывшим. И наконец, в-третьих. При 23,5 млрд. внешнего долга и все возрастающих военных расходах, где возьмет Израиль средства на абсорбцию 400 тысяч человек?

Вызывает большое удивление и тот факт, что о судьбе 400 тысяч советских евреев вдруг забеспокоился именно Шимон Перес, проявлявший на протяжении пятнадцати лет абсолютное равнодушие к судьбе евреев СССР вообще и новых олим, в частности. Да и некоторые другие члены правительства не отличаются большими симпатиями к русским евреям. Например, именно в бытность Давида Леви министром абсорбции был назначен начальником отдела по ведомству алии иранский еврей, который перед этим в письме в газету открыто и прямо заявил, что он ненавидит ашкеназийских евреев. Нет нужды упоминать, что при Д. Леви число олим из СССР вообще упало до нуля, и, видимо, не один только покойный Брежнев приложил к этому руку.

А потому есть основания полагать, что слухи о выезде 400 тысяч евреев из СССР — это не более чем результат пропа-

гандистской кампании, не имеющей ничего общего с действительным беспокойством о судьбе советских евреев.

Можно назвать две вероятные причины возникновения этой кампании. Прежде всего, г-н Шимон Перес страстно желает избавиться от Иудеи и Самарии, которые министры-социалисты называют "захваченными территориями". Сделать это без помощи СССР чрезвычайно трудно. Пересу нужно создать видимость давления, то есть созвать "мирную конференцию" с участием СССР. В этом случае фиктивная договоренность о выезде 400 тысяч евреев (а г-н Перес прекрасно знает, что и 40 тысяч не наберется), освобождение узников Сиона и возвращение израильского посольства в Москву могут обелить его в какой-то степени в глазах израильского общественного мнения.

С другой стороны, как никак, а в прошедшие годы в мире была инфляция. Теперь израильское министерство финансов может смело утверждать, что абсорбция каждого советского еврея обойдется в 40 тысяч долларов. Представьте себе, какой великолепный повод предъявить Америке заявку на 16 млрд. долларов! Просто на поправку дел США что-то стали давать туго, но на советских евреев, да еще с Щаранским во главе... неужели американские борцы за права человека посягнутся?

И тут создается идеальная ситуация, о которой всегда мечтал израильский истеблишмент: алия без олим! Спросите любого израильского чиновника или даже просто обывателя, хочет ли он алию? Ответом будет несомненно "да", но после пойдут следующие оговорки: чтобы олим не давали все бесплатно (можно подумать, что это когда-то было), чтобы они, как первые поселенцы, прошли через палатки, чтобы не получали сразу должность врача или инженера, а сначала строили бы дороги, как немецкие профессора-евреи из предвоенного заезда, и т.д. и т.п.

В случае 400 тысяч еврейских "мертвых душ" из СССР и волки будут сыты, и овцы целы: наговорятся все вдоволь, замученная совесть еврейских организаций опять успокоится на 5-10 лет, а тем временем и политика будет сделана и казна припухнет.

Маловероятно, что даже если какое-то количество евреев и выедет из СССР, они направятся в Израиль. Я уже упоминал тот факт, что сионисты-идеалисты в СССР почти вымерли. Сегодняшний "еврей-отъезжант" практичен, лишен какой-либо сентиментальности, хорошо знает, чего он хочет от жизни и где он может это найти. Его путь лежит в Америку, страну неограниченных возможностей, где доллары хотя и не растут на ветках, к великому удивлению наших советских собратьев, но все же доступ к ним имеется.

Для нас, живущих на всех материках — от Европы до Австралии — судьба советских евреев далеко не безразлична. Там остались наши родственники, близкие друзья, просто знакомые и товарищи юности. Положение же советских евреев не может не внушать беспокойства.

Рост великодержавного шовинизма, сопровождаемый разнузданной антисемитской кампанией, большие внутренние трудности и участвовавшая смена правителей могут привести к кризису, в котором угроза погромных и фашистских рецидивов весьма реальна. Конечно, мы хотели бы, чтобы все наши соплеменники выехали на Запад, неважно куда, только бы оттуда подальше. И если вдруг придет день великой эвакуации, кто из нас не поделится с многострадальным братом-евреем толикой имущества и добрым словом, добрым советом. Недаром традиция учит нас не забывать, что рабами были мы у фараона, и долг наш — дать приют чужестранцу!

Как ни странно, некоторые в Израиле забывают эти простые истины. Несколько лет назад главный редактор газеты "Едиот Ахронот" д-р Розенблюм высказался в следующем духе: поскольку евреи из СССР едут в Америку по израильским визам, так не посылать им вызовов вообще! Пусть остаются в России, там они, по крайней мере, сохраняются как евреи, а в Америке — лишь одна ассимиляция, да и только!

Самое удивительное, что молчаливое большинство и крикливое меньшинство с красной страницы той же газеты согласились с д-ром Розенблюмом. Не получая команды из Израиля, умолкли и еврейские организации Америки, не знающие в общем, за что бороться и за кого бороться. И даже миф о 400 тысячах потенциальных олим не смог их вдохновить.

Все более очевидным становится тот факт, что вопрос о советском еврействе будет решать не только один Израиль. Массовый выезд евреев из СССР станет возможным, вероятно, лишь в рамках окончательного решения еврейской проблемы, инспирированного правительством по польскому образцу 1968 года. Мы помним, что остаткам польских евреев был дан короткий срок для выезда, после чего Польша стала "юденфрай".

Если это произойдет, долг бывших советских евреев на Западе состоит в том, чтобы не повторить ошибку американских и палестинских евреев, которые молчаливо наблюдали, как их собратья гибнут в Европе, и не ударили палец о палец, чтобы попытаться их спасти.

Если г-н Шимон Перес осуществит желаемое, и израильский посол будет сидеть в Москве, советским евреям легче от этого не станет. В конце концов, именно в начале 60-х годов, в пору относительного затишья в советско-израильских отношениях, из СССР не выехал никто. Трудно себе представить хоть какое-то сотрудничество работников израильского посольства с их вечным "сидите тихо" и еврейскими активистами в Москве.

Трудно себе представить радостную встречу в Шереметьевском аэропорту между сотнями израильских туристов, прибывших на французском самолете, и сотнями евреев, улетающих на том же самолете прямо в Лод.

Еще труднее себе представить нынешний Израиль, абсорбирующий 400 тысяч советских евреев.

И уже совсем невозможно представить этих самых евреев, согласных с тем, чтобы их доставляли в современных реактивных столыпинских теплушках на место жительства, указанное правительством.

Жестокая арифметика последних пятнадцати лет свидетельствует против этого.



Вера ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ

СУПРУГИ ГОРБАЧЁВЫ ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТА

Когда перед конференцией в верхах я приехала в Женеву, то моим глазам открылось вавилонское столпотворение. На эту встречу съехалось почти что 4500 журналистов, практически со всех стран мира. И это не считая государственных и политических деятелей, наблюдателей, членов парламентов и правительств, лидеров общественных движений, многочисленных лоббистов, организаторов демонстраций протеста...

В самой Женеве работало три постоянно-действующих пресс-центра: отель "Хилтон", где разместились агентства Си-Би-Эс и Эй-Би-Си и где, кстати, остановилась и я, отель "Интерконтиненталь", где расположился пресс-центр Белого Дома. Тут был установлен большой телевизор, на экране которого демонстрировались все последние новости. И, наконец, главный пресс-центр, где могли находиться исключительно аккредитованные на конференции журналисты.

Представители прессы приехали в Женеву что называют-

ся на большом подъеме. Состоявшаяся перед встречей в верхах пресс-конференция Рейгана внушала надежды. Все считали — и в общем правильно — что оба лидера прибыли в Женеву с доброй волей. С первых же часов ждали сенсаций. А если уж не сенсаций, то, по крайней мере, потока важной и интересной информации. Но шло время, и никаких новостей не поступало. Раздраженные этим корреспонденты и главы агентств, не зная куда себя деть от безделья, бродили в кулуарах и жадно ловили любую новость, любой слух, относящийся пусть не к происходящему на встрече, но, по крайней мере, к ее участникам и их женам. Это была особая и совсем непривычная для журналистов обстановка, объясняющая, в частности, то, почему они с таким жадным интересом относились к каждому шагу Раисы Горбачевой и так часто устраивали пресс-конференции друг с другом. За неимением настоящей информации, ее заменяли суррогаты. Агентства новостей, иногда и сами журналисты, истратили фантастические деньги, и нужно было их как-то оправдать.

Впрочем, для всей этой "секретности" были определенные причины. Верно, что и Рейган и Горбачев приехали с доброй волей, но разрыв в позициях сторон оказался слишком велик.

Рейган ни при каких условиях не был готов отказаться от подготовки к "звездным войнам". Высшая цель Горбачева состояла в том, чтобы добиться от американского президента отказа от такой подготовки. У того и другого была и еще одна цель: оба лидера хотели познакомиться лично и установить дух взаимопонимания. Правда, ситуации, в которой действовали Рейган и Горбачев были совершенно различны. Горбачев только что пришел к власти. Это был первый советский лидер, который оказался моложе своего американского партнера по переговорам. Для него добиться успеха в Женеве, т.е. сокрушить идею "звездных войн", значило укрепить свою власть в стране.

А что же Рейган? Он не намеревается выставлять свою кандидатуру еще на один срок. Это и определило его самочувствие в Женеве. Президент в сущности, не опасался ни-

каких реакций в конгрессе и сенате, не боялся демонстраций протеста. Но с другой стороны, он хотел, конечно же, войти в историю, как президент, который начал диалог с Москвой. Именно по этой причине Рейган старался проявить максимум корректности в отношениях с Горбачевым.

Так или иначе, оба лидера — хоть по разным мотивам — опасались, чтобы в печать просочилась преждевременная информация о трудностях в переговорах. Они хотели раньше договориться между собой, а потом уже встречаться с журналистами. Но договорились они о единственном — наладить дух взаимопонимания (не считая обмена консульствами в Нью-Йорке и Киеве, открытия прямых авиалиний и некоторых культурных соглашений). Впрочем, оба лидера сочли и это достаточным, чтобы положить начало новым отношениям между двумя странами. Рейган пригласил Горбачева в США в 1986 году, а советский лидер — американского президента в Москву.

Обо всем этом корреспонденты услышали уже после встречи — вначале на общей пресс-конференции, а потом на специальной, которую устроил советский лидер для журналистов в советской миссии. К этому я еще вернусь, а пока о причинах, которые побудили меня лично поехать в Женеву. Прежде всего — мое происхождение, связь с русской культурой и Россией вообще. Однако, не только это.

В 1959 году, еще будучи студенткой, я была принята на работу в Госдепартамент переводчицей и гидом. Это был год встречи Хрущева с Эйзенхауэром, когда был впервые провозглашен "дух Кэмп-Дэвида". При этом Хрущев был первым советским лидером, который приехал в Соединенные Штаты, да еще с женой. В тот же год я работала гидом советской культурной делегации в Соединенных Штатах.

Теперь, спустя 26 лет, меня, естественно, интересовал вопрос: "А что же изменилось в облике советских руководителей и в отношениях двух стран?" Собственно то, что меня интересовало, лучше всего отражается в теме лекций, с которыми я выступаю после возвращения из Женевы. Эта тема: "Политическая устойчивость и социальные сдвиги в отношениях США-СССР".

Я хорошо помню первую советскую леди, появившуюся в США — Нину Петровну Хрущеву. Помню и вопросы обращавшихся к ней журналистов, и ее ответы. Один из них, например, спросил: "Миссис Хрущева, какое влияние, по вашему мнению, окажет встреча вашего мужа с Дуайтом Эйзенхауэром на советско-американские отношения?" На что последовал следующий ответ: "Знаете что, об этом меня не спрашивайте. Лучше спросите их. Это их дело. А мне бы надо что-нибудь купить для внучат!"

Так вот, если говорить об облике первой леди сегодня, то это уже совсем иной тип. Конечно, она прежде всего супруга своего мужа, советского лидера, приехавшего на встречу с американским президентом. Но в то же время она и сама личность, как говорят по-английски, "персоналити". Она — профессор, доктор философских наук, старавшаяся каждым своим шагом в Женеве показать, что она сама по себе много значит.

Некоторые из приехавших в Женеву американцев не хотели этого замечать. Одна из видных деятельниц республиканской партии Сюзанн Шлафли на вопрос журналиста о впечатлении, которое на нее произвели Михаил и Раиса Горбачевы ответила: "Горбачев решил помочь жене сделать покупки, вначале в Париже, а затем в Женеве".

О пристрастии Раисы Горбачевой к модам и туалетам газеты писали более, чем достаточно. Как я уже заметила, отчасти это происходило от скудности информации, но отчасти от стереотипов мышления: раз первая леди, значит должна питать особое пристрастие к собственному гардеробу, драгоценностям и т.д. Что же, все это относится и к Горбачевой. Во всяком случае, когда парижские газеты ее раскритиковали за чересчур высокие каблуки, слишком светлые чулки и полосатую блузку, — то, как заметили те же острые на глаз журналисты, в Женеве она была одета по-другому — туфли не на таком высоком каблуке, совсем другая кофточка, и более темные чулки. Но, повторяю, дело не в гардеробе. И даже не в марксистской философии — знатоком которой считается Раиса Горбачева (о чем также

писали газеты). Дело в том, что перед нами иной социальный тип женщины, диаметрально противоположный, скажем, той же Ненси Рейган.

Первая леди Америки, несомненно, более изысканна. Она куда лучше искушена в светских манерах, правилах поведения в высшем обществе. Этого не могли не увидеть присутствующие на конференции. Но они не могли не почувствовать превосходства Горбачевой в чем-то другом.

Мне пришлось присутствовать на ее выступлении в Женевском музее. Оно было посвящено Ленину, некогда жившему в Женеве, и ленинизму.

Я не могу согласиться ни в одном пункте с идеями, которые высказывала первая советская леди. Но с другой стороны — то, как она говорила, с каким знанием предмета и каким русским языком, все это не могло не обратить на себя внимания.

От русских эмигрантов я слышала, что Горбачева — типичная обкомовская дама, жена крупного партийного босса.

Я не настолько знаю сегодняшнюю Россию, чтобы оценить, верно ли это. Конечно, в Горбачевой нет никакого аристократизма духа, когда-то присущего русской интеллигенции, например, моим родителям, или моему деду, адмиралу фон Вирену.

Но, с другой стороны, она уже не из тех кухарок, которых Ленин мечтал "научить управлять государством". Это типичная представительница нового поколения советских людей, которые тянутся к Западу, признают его достижения и стремятся найти с ним общий язык.

Кто-то в ее присутствии (кажется, даже сам Горбачев) заметил, что он не знает английского. Надо было видеть, с каким выражением лица она воскликнула: "Я понимаю! Я понимаю!" И так все эти дни: ей прежде всего хотелось выглядеть современным, образованным, западным человеком.

А что же сам Михаил Горбачев? Не буду повторять общеизвестные вещи и тем более всякого рода газетные спекуляции

о новом советском лидере. Мне хочется ответить на более узкий, но в чем-то более необычный вопрос: какое впечатление на собравшихся произвел этот самый молодой из советских руководителей. По традиции журналисты набрасывались на него при каждой удобной возможности — но до окончания встречи он предпочитал отмалчиваться или в лучшем случае отделялся шутками, притом не всегда удачными.

Во всем своем облике, если так можно выразиться, он предстал на пресс-конференции, устроенной им после окончания встречи в помещении советской миссии.

Думаю, лично он испытывал противоречивые чувства. В дискуссии о "звездных войнах" он не вышел победителем. Точнее, просто ничего не добился. Правда, он познакомился с американским президентом, и было налажено определенное взаимопонимание. Но это и все. Повидимому, пока ему не было ясно, как эти более чем скромные результаты встретят его кремлевские коллеги в Москве, среди которых он в лучшем случае чувствовал себя как первый среди равных. Но это, повидимому, не покидаемое его беспокойство никак не дало себя знать на пресс-конференции. Каким же он предстал перед ее участниками?

Начнем с того, что ее организаторы, и прежде всего Замятин, позаботились о том, чтобы она не была слишком широкой — было приглашено что-то около 240 человек. Среди приглашенных была и я. И, может быть, я была единственной, кто понимал не только все, о чем говорил Горбачев, но и как он это говорил, с каким настроением, с какими чувствами, и это, конечно, давало возможность лучше понять его самого.

Журналисты на этот раз были весьма корректны — они просто боялись обозлить советского лидера и лишиться себя последней возможности получить информацию, по которой изголодались в ходе самой конференции. Но надо заметить, что и ответы Горбачева соответствовали вопросам — они были тактичны, выдержаны, вежливы. Советский лидер явно хотел оставить о себе хорошее впечатление у западной прес-

сы. Так что жаждущие сенсации или скандала не получили ничего, а незнание русского мешало журналистам понять многие из нюансов горбачевского выступления, да и некоторые небезынтересные черты его характера, проявившиеся в эти минуты.

Итак, как выглядела его речь? Как выглядел он сам? Насколько он напоминал других советских лидеров? Где-то в газетах я читала, что по своему складу Горбачев не очень сильный человек, что он слишком эмоционален, вспыльчив и даже суетлив. Лично я, сидя на пресс-конференции, этого не почувствовала. Он был в высшей степени уверен в себе — может быть, это был результат самоконтроля или тщательной подготовки, но он был готов к любому вопросу и отвечал без колебаний. Впрочем, вряд ли он мог похвастаться культурой языка и произношения. Как и большинство советских лидеров, он хакал: "Я же ховорю вам, что так действовать нельзя ..." Это его "хакание", конечно, резало ухо. Но, с другой стороны, он выступал без всякой бумажки, и, казалось, все сказанное было подготовлено и выношено им самим.

Думаю, что он готовился к выступлению и при том очень тщательно и с помощью многочисленных помощников, но на уверенности его тона это не отражалось.

С другой стороны, чувствовалось, что это очень эмоциональный человек. В чем-то он напоминал Хрущева — своими жестами, быстротой реакции и какой-то подавляемой им самим необузданностью. Во всех его ответах на вопросы ощущалась одна болевая точка — это "звездные войны", подготовку к которым ему не удалось приостановить. Его не мог вывести из себя ни один из журналистов, но он воспламенялся сам, когда касался темы "звездных войн". В такие минуты он становился особенно похожим на темпераментного, необузданного Хрущева. Особенно, когда, обращаясь к залу, восклицал: "Я же говорю вам, что так нельзя: вы начнете и мы начнем. Вы что же думаете, что, если мы захотим, то не сможем вас догнать — конечно, сможем! Если вы можете, то и мы сможем, но я вас спрашиваю, чем это кончит-

ся!" Он жестикулировал, и, обращаясь к залу, возвышал голос, переходил почти на крик и выглядел также, как когда-то разгневанный и вышедший из себя Никита. Правда, на нем был модный европейский костюм, и сам он много моложе Хрущева и, конечно же, не мог позволить себе разойтись до того, чтобы в зале заседаний снять ботинок и колотить им по спинке стула. Словом, если это и был по типу и темпераменту Хрущев, то уже совсем другого, нового времени.

К тому же сегодня всем очевидно, что Горбачев — это политик прозападной ориентации. И это тоже сближает его с Хрущевым. Но с другой стороны, мы знаем, как закончил Хрущев. Пока нам трудно представить, насколько прочным является и положение Горбачева. Кто поддерживает взятый им курс, а кто выступает против. Все происходящее в Кремле всегда оставалось загадкой для мира. Но все же хочется верить, что мы являемся свидетелями нового курса Москвы, начало которому было положено в Женеве.



Людмила АЛЕКСЕЕВА

СОЦИАЛИСТЫ В СОВЕТСКОМ ПОДПОЛЬЕ

В 1956 году, после XX съезда, инакомыслие, в том числе политическое, накапливавшееся до той поры подспудно, выплеснулось наружу и стало разрастаться лавинообразно. Этот процесс очевиден даже из анализа советской печати (в то время цензурные ограничения были настолько смягчены) и из самиздата. Мемуарная литература (Петр Григоренко, Юрий Орлов, Владимир Буковский, Револьт Пименов, Борис Вайль, Раиса Орлова) дополняет картину настроений в советском обществе тех лет. Ниспровергатели советской системы среди инакомыслящих были крайне редки, единичны, а диапазон критики — и в официальной литературе, и в самиздате — укладывался в понятие "демократический социализм". Одна часть критиков делала упор на демократию, а другая — на социализм, но социалистическое мировоззрение было господствующим с первых признаков проявления несогласия и до конца 60-х годов.

Теоретически тогдашние социалисты не были едины. Можно выделить несколько основных течений диссидентского социализма.

Самым представительным и известным был неформальный круг, выразителем настроений которого стал московский историк Рой Медведев.

Общая основа взглядов сторонников этого направления определяется тем, что они считают его одним из проявлений внутрипартийной оппозиции. В "Книге о социалистической демократии" (1972) Рой Медведев рассматривает это течение в главе, которая так и называется: "Внутрипартийные течения и вопрос об единстве партии". Он называет течение, к которому сам принадлежит, "партийно-демократическим" и так определяет его социальный состав:

"Данное течение в настоящее время практически совершенно не представлено в самых высших органах партийного руководства. Однако можно предположить, что и здесь имеется ряд деятелей, которые ... в иных условиях и при ином окружении могли бы составить важную поддержку именно партийно-демократическому течению. Немало сторонников данного течения имеется среди работников партийного и государственного аппарата на его различных уровнях, особенно среди тех сравнительно молодых работников, которые пришли в аппарат после XX и XXII съездов партии. Партийно-демократическое течение имеет сегодня немало сторонников среди научных работников: экономистов, философов, социологов, историков и других. Оно пользуется сочувствием среди части научно-технической интеллигенции, среди части литераторов и в других группах творческой интеллигенции. Отдельные группы, которые можно было бы отнести к этому течению, имеются среди тех, кто вернулся из ссылки и заключения сталинских лет".

Автор отмечает близость этого течения к позициям итальянской, испанской, австралийской и некоторых других коммунистических партий. Партийно-демократическая концепция признает "правильным" ленинизм и политику большевиков в ленинский период, т.е. с момента основания партии и, по крайней мере, до начала 20-х годов, и не приемлет

"Проблемы Восточной Европы" (9/10)

* Рой Медведев. Книга о социалистической демократии. Амстердам. Париж. Фонд им. Герцена, 1972, с. 63.

"сталинизм", возлагая на Сталина и его ближайшее окружение вину за искажение социалистической сути советского государства. Тем не менее они признают современную советскую систему социалистической по сути, по ее "фундаменту", отрицая, что СССР является обществом развитого социализма, как утверждает официальная идеология.*

Для вступления советского общества в фазу развитого социализма, по Медведеву, следует в основании этого здания заменить, что "...в силу разных причин устарело, обветшало и даже подгнило, достаточно быстро и вместе с тем с величайшей осторожностью".**

Основным направлением этих изменений должна быть демократизация советской системы. Расхождения между сторонниками партийно-демократического направления были, в основном, по поводу степени необходимой демократизации. Диапазон во мнениях был от свободы высказываний на партийных собраниях — и то до момента принятия решения, после чего меньшинство должно подчиниться, — до многопартийности с полной свободой печати и вообще открытости общества по образцу свободного мира.

Сам Медведев заявлял себя сторонником широкой социалистической демократии для всего общества и верил в неизбежность такой демократизации в связи с требованиями экономического и технического прогресса, научно-технической революцией и изменениями социальной структуры советского общества. Эта демократизация, считал он, произойдет не сама собой, а лишь в результате политической борьбы и политического давления на "авторитарный режим". Конкретные пути расширения демократии в советском обществе, предлагаемые Медведевым, — выработка соответствующей теоретической платформы, разработка марксизма-ленинизма применительно к современности и поиск конструктивных путей демократизации экономики, обра-

* Там же, с. 100.

** Там же, с. 399.

зования, структуры власти и т.д.; это должна быть мирная борьба в конституционных рамках; распространение этих идей способами, найденными обществом в советских условиях, — через самиздат и, по возможности, через официальные каналы: выступления на собраниях, а если удастся — и в официальной печати, организация давления на консервативные и реакционные элементы правящей партии со стороны народа и интеллигенции. Медведев надеялся, что такое давление постепенно приведет к изменениям в аппарате власти и формированию в нем влиятельных групп, которые поддержат программу партийно-демократического направления и процесс демократизации.* Таким образом может возникнуть союз "... между лучшей и наиболее активной частью интеллигенции и всего народа, с одной стороны, и лучшей частью аппарата, с другой".

Что конкретно имеет Медведев в виду под давлением народа и интеллигенции в конституционных рамках, можно понять из положительной оценки им петиционных кампаний 1966-1968 гг. и в то же время — неодобрительного отзыва о правозащитном движении, хотя оно и представляет собой, как признает Медведев, попытку давления на власти в конституционных рамках. Тем не менее Медведев называет его "оппозицией экстремистского толка", отмечая крайнюю разнородность во взглядах участников этого движения, в которое входят "... и сторонники партийно-демократической программы и люди, открыто объявляющие себя противниками ленинизма и коммунистической партии".

Медведев утверждает, что "... позитивная платформа правозащитного движения состоит из чрезмерно радикальных и даже анархистских предложений".**

* Там же, с. 373.

** Там же, с. 92-93,

Распространение идей партийно-демократического течения происходило благодаря широким дружеским и деловым связям его сторонников — в личных беседах и с помощью издававшегося с 1964 года Р.Медведевым "Политического дневника" ("... таинственное издание, как предполагают, нечто вроде самиздата для высших чиновников", по характеристике Сахарова) .*

Сочувствовавшая демократическим преобразованиям гуманитарная элита имела доступ в спецхраны научных библиотек, что позволяло знакомиться, во всяком случае, с коммунистической прессой других стран. Имелись и личные контакты с коммунистами из-за рубежа: среди сторонников партийно-демократического направления были люди, которым разрешались зарубежные поездки, они виделись и с приезжавшими в СССР коммунистами из разных стран. Особенно тесными были связи с Чехословакией — об этом свидетельствуют материалы "Политического дневника", а также заметка в "Хронике текущих событий":

"Летом 1975 г. Лен Вячеславович Карпинский, заведующий редакцией научного коммунизма издательства "Прогресс", был исключен из партии.

Л.В.Карпинский — сын известного деятеля революционного движения В.А.Карпинского (1880-1965гг.), работавшего вместе с В.И.Лениным, — позднее члена ВЦИК.

Л.В.Карпинский был в начале 1960-х годов секретарем ЦК ВЛКСМ по идеологии, а затем, так же как в свое время его отец, членом редколлегии "Правды". После опубликования в "Комсомольской правде" его статьи (в соавторстве с Ф.Бурлацким) "На пути к премьеру", посвященной театральной цензуре, он был выведен из редколлегии "Правды" и работал в секретариате "Известий", затем в институте социологии АН СССР и, наконец, в "Прогрессе".

Карпинского исключили из партии после того, как в его рабочем столе обнаружили стопку отпечатанных на машинке научных статей, заметок и эссе по социологии, политической экономии, экономике. Среди этих материалов — 11 экземпляров письма, отправленного из Праги и адресованного Карпинскому. Автор письма — Отто Лацис,

* Сахаров о себе. — А.Сахаров. О стране и мире, Нью-Йорк, Издательство "Хроника", 1976, с. X.

сотрудник журнала "Проблемы мира и социализма". Лацис излагает свои взгляды на некоторые острые проблемы общественных наук. И письмо, и другие найденные материалы выдержаны в духе марксизма и лояльны по тону. Одно из главных обвинений, которые предъявлялись Карпинскому, — количество экземпляров письма.

Лацис исключен из партии и уволен с работы.

Карпинский после исключения из КПСС также снят со своего поста".

В 50-60-е годы влияние Роя Медведева, его брата Жореса и их окружения было существенным фактором общественной жизни московской интеллигенции. А.Д.Сахаров, находившийся в то время на самой верхушке советской иерархической пирамиды, в 60-е годы был нередким гостем Роя Медведева. Сахаров писал в автобиографической заметке 1973 г.: "Как бы ни складывались наши отношения и принципиальные разногласия в дальнейшем, я не могу умалить их роли в своем развитии".*

В 1970 году А.Д.Сахаров совместно с Роем Медведевым и Валентином Турчиным обратился к советскому руководству с письмом, убеждая решиться на демократизацию советской системы.** Александр Солженицын тоже был вхож в медведевский круг в те же 60-е годы и тоже испытал на себе влияние его идей (рассуждения об этическом и христианском социализме в "Раковом корпусе").

Спад обаяния этого советского варианта "социализма с человеческим лицом" произошел в конце 60-х годов.

Увеличилось расстояние между Медведевым и его приверженцами, не сдвинувшимися с прежних позиций, и теми, кого со временем стали называть правозащитниками — у большинства их взгляды сформировались под "... грохотом танков на улицах непокорившейся Праги".***

Вторжение в Чехословакию разрушило надежду на смягчение советского режима и способствовало массовому переосмотру прежними сторонниками партийно-демократическо-

* Сахаров о себе, с. IX.

** А.Д.Сахаров, В.Ф.Турчин, Р.А.Медведев. Письмо руководителям партии и правительства, 19 марта 1970 г. — Архив самиздата.

*** А.Сахаров. Послесловие к памятной записке — В:О стране и мире, с 133.

го направления оценки советской системы как системы социалистической — одни перестали считать ее таковой, другие перестали вкладывать положительный смысл в самое понятие социализма.

Отлив сочувствующих от партийно-демократического направления был очень быстрым, и в 1972 году Медведев писал, что это направление "... является в настоящее время самым слабым из партийных и внепартийных течений", а наиболее заметным к тому времени течением стало "западническое", связанное с "Размышлениями о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" А.Д.Сахарова. Самой большой потерей партийно-демократического направления был сам А.Д.Сахаров, но не только он — год за годом Медведев терял единомышленников и даже прежних личных друзей: они или прекращали общественную активность или включались в правозащитное движение, перенеся акцент своих стремлений с социалистических на демократическо-правовые (Раиса Лерт, Валентин Турчин, Петр Егидес и др.). Очевидно также расхождение во взглядах в 70-е годы оставшегося на прежних позициях Медведева с его давним единомышленником, писавшим под псевдонимом Александр Зимин. В 1981 году вышла в Нью-Йорке в русско-язычном издательстве "Chalidze Publication", написанная в 1976-1977 гг. книга Зимина "Социализм и неосталинизм". Зимин утверждает, что теперешний советский строй, который он называет неосталинизмом, — не стихийное завершение попытки социалистического строительства, начатого Лениным и большевистской партией после Октябрьской революции, а уход от него и результат сознательного изменения этого замысла Сталиным — в нынешнем СССР все "... пронизывается интересами и стремлениями, традициями, амбициями и мифологией Российского государства, унаследованными от капиталистического и даже докапиталистического прошлого".

Хотя большинство непартийных и партийных единомышленников покинули Медведева, они сохранились в среде советской бюрократии и среди обслуживающей аппарат гума-

нитарной интеллигенции. Об этом свидетельствует его осведомленность о деталях советской внешней и внутренней политики, а также о событиях в мире власть имущих. Сохранил Медведев и веру в партийно-демократическую идеологию. В 1972 году он, несмотря на продолжавшийся отлив сторонников, писал, что можно рассчитывать на быстрое развитие партийно-демократического направления, что оно в течение 70-х годов может превратиться из "настроения" в массовое общественное движение, получив поддержку студенчества и молодежи вообще. В случае такого развития событий Медведев полагал, что проведение "серьезной программы демократических реформ" можно будет осуществить лет за 10 и что общество развитого социализма может быть создано в СССР в течение 70-х годов, а бесклассовое коммунистическое — к концу XX века или в начале XXI.

У Медведева были некоторые основания для оптимизма относительно возможностей партийно-демократического направления, поскольку и после массового разочарования в советском режиме идея демократического социализма сохранила обаяние не только для небольшой части советской и партийной бюрократии. Неудовлетворенные советской действительностью одиночки и небольшие неформальные группы, изучавшие классиков марксизма и размышлявшие над их творениями в поисках "настоящего" социализма, очень многочисленные в 50-60-х годах, не переменились и в 70-е годы. Такие правдоискатели составляли значительную часть политзаключенных и в хрущевские и в брежневские времена. Об одном таком кружке среди армейских офицеров в начале 50-х годов писал впоследствии в своей автобиографии Юрий Орлов (к счастью, там обошлось без арестов). Члены кружка пришли к выводу, что в СССР "диктатура пролетариата" заместила "диктатурой бюрократии".

Была среди социалистов и организованная часть — подпольные и полуподпольные кружки и организации, почти полностью молодежные. В большинстве случаев каждый такой кружок был замкнут в себе, лишь некоторые из них

были связаны с двумя-тремя такими же кружками, и связи эти не шли далее совместных совещаний. Эти юноши нового, послевоенного поколения были искренними марксистами, социалистами и патриотами, они стремились не к ниспровержению существующего строя, а к его улучшению возвращением к "настоящему" "ленинскому" социализму или к реформе "по югославскому образцу".

В Москве самым крупным и деятельным был кружок Льва Краснопевцева, составившийся из выпускников исторического факультета МГУ. Его основали в мае 1957 года 7 выпускников исторического факультета МГУ с целью добиваться последовательной десталинизации, либерализации в политике и в экономике. Члены кружка вели теоретическую работу по выяснению исторических корней сталинизма и большевизма в целом. Они завязали связи с польскими "ревизионистами", делали попытки связаться с оппозиционным движением Гариха в Восточной Германии. Они подготовили листовку с призывом к борьбе за социалистическое обновление в духе XX съезда КПСС и распространили 500 экземпляров этой листовки в разных районах Москвы. В августе 1957 года 9 членов кружка были арестованы. Кроме них по делу проходили еще 12 человек. Такими же были кружки Виктора Трофимова и Михаила Молостова в Ленинграде.

Таким же был ленинградский кружок выпускников Технологического института. В бытность студентами его участники, борясь с преступностью, входили в комсомольскую бригаду по патрулированию улиц. Там они и подружились. Их программным документом стала книга, написанная членами кружка Валерием Ронкиным и Сергеем Хахаевым "От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата". Книга была написана в 1962 году, и очень близка идеям Милована Джиласа о "новом классе", хотя авторы смогли прочесть эту работу Джиласа лишь в 1965 году. После их ареста следствие установило 88 человек из десяти разных областей, прочитавших книгу Ронкина и Хахаева (ее

размножили фотоспособом). Кроме того, группа распространяла листовки, а в 1965 году стала издавать журнал "Колокол". При подготовке третьего выпуска члены кружка были арестованы.

Такая же судьба постигла группу студентов и преподавателей в Горьком, написавших с марксистских позиций работу "Социализм и государство" и устроивших ее коллективное обсуждение, и "Марксистскую партию нового типа" в Рязани в 1968 году, и столь же немногочисленных членов Партии истинных коммунистов в Саратове, и Демократический союз социалистов. Этот союз состоял из студентов Кишиневского института искусств и молодых школьных учителей. Они соорудили печатный станок, отпечатали на нем 1300 экземпляров газеты "Правда народа" и распространили (в 1964 году) в Кишиневе и в Одессе. Была разгромлена и "Партия борьбы за реализацию ленинских идей" в Ворошиловграде в 1970 году и созданный в 1963 году на Дальнем Востоке среди военных Союз борьбы за возрождение ленинизма". Его основатель генерал Петр Григоренко писал листовки, критикуя советскую действительность за отступления от "истинного", ленинского социализма. Одну такую листовку он раздавал, стоя в полной генеральской форме, у проходной московского завода "Серп и молот", рабочим, идущим на работу.

Однако к концу 60-х годов Григоренко, сохранив коммунистические убеждения, стал активистом правозащитного движения, а к середине 70-х годов — антикоммунистом.

В период активности правозащитного движения подпольная деятельность почти прекратилась, в Москве социалистические кружки перевелись, в провинции их стало меньше, но сторонники социализма сохранились в Ленинграде.

24 февраля 1976 года, в день открытия XXV съезда КПСС, с галереи Гостиного Двора на Невском проспекте четверо юношей сбросили около 100 листовок, написанных от руки печатными буквами: "Да здравствует революция! Да здравствует коммунизм!".

Были задержаны студенты-первокурсники Андрей Резников, Александр Скобов, Андрей Цурков и десятиклассник Александр Фоменко. Их исключили из комсомола и из учебных заведений.

В апреле 1976 года группа, называвшая себя Ленинградской школой, куда вошли эти юноши, утвердила платформу-тезисы, в которой заявлялось о начале ее деятельности, "... направленной на преобразование существующего общества" на основе марксизма и ради достижения коммунизма. Советский строй группа называла государственно-монополистическим капитализмом. Конкретно намеченные преобразования должны были заключаться в "... отстранении от власти класса государственной бюрократии" в результате классовой борьбы трудящихся во главе с интеллигенцией.

Тогда же, в 1976 году, члены группы организовали молодежную коммуны, сняв половину дома на окраине Ленинграда. Здесь проходили дискуссии, обменивались самиздатом, здесь останавливались приезжающие из других городов приятели.

Весной 1978 года группа, теперь называвшая себя "левой оппозицией", стала выпускать журнал "Перспективы" (вышло два выпуска). В октябре 1978 года намечалась конференция, на которую пригласили единомышленников из Москвы, Горького и из других городов. Но начались обыски и допросы, задеввшие около 40 человек. В течение октября были арестованы Александр Скобов (студент исторического факультета ЛГУ) и Аркадий Цурков (студент физического факультета), а несколько позже — Алексей Хавин (студент-медик). Аркадий Цурков, получивший по приговору 5 лет лагеря строгого режима и 2 года ссылки, заявил в последнем слове, что после освобождения будет продолжать борьбу. Другим, собравшимся у здания суда, он крикнул: "Да здравствует демократическое движение!"

После разгрома коммуны ее участники Ирина Цуркова и Александр Скобов примкнули к независимому профсоюзу СМОТ. Когда арестовали два состава Совета представителей

СМОТ, они оба вошли в его третий состав и оба оказались в заключении.

В декабре 1979 года состоялся суд над членами молодежной группы, назвавшейся Союз революционных коммунаров "(рабочий Владимир Михайлов, художник Алексей Стасевич и студентка Алевтина Кочнева); они тоже жили коммуной на снятой квартире. Коммунары писали на стенах зданий лозунги типа "Демократия — не демагогия!" и "Долой госкапитализм!", а также распространяли листовки с разъяснением, что все зло в мире — в наличии государства, частной собственности и семьи, и с призывом объединиться в мировую организацию для искоренения антигуманности. Судили их за "хулиганство". Подсудимые заявили о своей солидарности с французскими студентами, выступившими в 1968 году.

Во второй половине 70-х годов, после двадцатилетнего перерыва вновь возникло объединение социалистов в Москве. Оно родилось в той же социальной среде, в которой в 50-60-е годы пользовалось успехом партийно-демократическое направление. Три ведущих деятеля нового объединения были: Андрей Фадин и Павел Кудюкин — сотрудники Института мировой экономики и международных отношений; Борис Кагарлицкий — аспирант института театрального искусства. Они, как и другие участники объединения, в силу происхождения имели связи в советском и государственном аппарате, в среде гуманитарной элиты. Отец Фадина был референтом ЦК КПСС в Норвегии, отец Кагарлицкого — известный советский литературовед, специалист по английской и американской научной фантастике. По возрасту участники этого объединения (30 лет и моложе) — второе поколение социалистической оппозиции послесталинского времени.

Первым практическим делом этого кружка был самиздатский периодический журнал "Варианты", основанный в 1977 году.* Вначале этот журнал, как и "Политический дневник" Медведева, предназначался для узкого круга, для

* Ответы независимого альманаха "Варианты" (Москва) на вопросы журнала "Альтернатива" (Париж) — "Форум" № 1, с 33,

"своих", но он был не информационным, как "Политический дневник", а теоретическим. Авторы "Вариантов", согласно информационному изданию правозащитников Бюллетеню "В", вели дискуссию "... по поводу судеб марксистского наследия и социалистических идей в современном мире, прежде всего в России, опыта западных социал-демократических партий, опыта сближения интеллигенции и рабочего класса".

Состояние массового сознания в СССР в 80-е годы делало эту задачу чрезвычайно трудной. Корреспондент французского журнала "Альтернативы" осенью 1980 года собрал мнения представителей различных социальных слоев советского общества о советском диссидентстве, задавая им, в частности, вопрос:

— Что значит быть социалистом сегодня в Советском Союзе?

Ответы были таковы: рабочий (грузчик), 32 года:

— Настоящий социалист — понятие из кино. В жизни не встречал.

Бывший рабочий, люмпен, 33 года:

— С этим понятием не сталкивался.

Студентка технического института, 19 лет:

— Не знаю.

Журналист, 35 лет:

— Социалист — понятие весьма растяжимое и совершенно абстрактное, из области идеального, как и многие другие понятия типа "социализм" (особенно — с человеческим лицом: почему-то более, чем 60-летняя история страны, в которой победила идеология марксизма и коммунисты пришли к власти, ничему не научила поклонников этих внежизненных схем).

Православный публицист, 31 год:

— За 60 лет советской власти слово "социализм" настолько дискредитировано, что вызывает, как правило, только отрицательные эмоции.*

*Ответы советских граждан на вопросы журнала "Альтернатива", "Форум" (под редакцией В.Маленковича. Мюнхен), № 1, сс. 3-32.

Для внедрения идей социализма в массовое сознание Павел Кудюкин и Борис Кагарлицкий в 1979 году создали самиздатский журнал "Левый поворот", который затем был переименован в "Социализм и будущее". К сожалению, ни один выпуск "Вариантов" и других социалистических журналов не достиг Запада. О "Левом повороте" и "Социализме и будущем" можно судить лишь по рецензии их 15 выпусков.

Анонимный автор рецензии называет "Варианты" политическим ровесником "Левого поворота", но считает взгляды "Вариантов" несколько более широкими. Рецензент пишет, что они исповедуют "... социализм демократический, и чтобы он был экономически эффективным".

На первом плане такая примерно основополагающая идея: "Реформы сверху под давлением снизу".

Рецензент, тоже социалист и марксист, считает оправданной ставку "Левого поворота" на обращение к "молчаливому большинству" и создание организационной базы движения — независимые профсоюзы, журнал, подпольная библиотека и т.д., но он критикует редакцию за "чрезмерные восторги" по поводу западных "левых" или за "левую риторику".

"Левый поворот", а затем "Социализм и будущее" выходили, примерно, в ста экземплярах и распространялись, по крайней мере, к 1982 году в Москве и еще в трех городах. Сотрудники "Вариантов" и "Социализма и будущего" пытались достать шрифт и наладить подпольную типографию для увеличения тиража обоих журналов.

О взглядах этой группы социалистов дает представление их самоназвание "еврокоммунисты" и объемистый труд Бориса Кагарлицкого (под псевдонимом В.Краснов) "Диалектика надежды", законченный в мае 1981 года — история развития социалистических идей в России, их применения на практике от создания социал-демократической партии и победы Октябрьской революции до наших дней.* Книга свидетельствует о хорошем знакомстве автора не только с ра-

* В.Краснов "Диалектика и надежды" (архив журнала "Проблемы Восточной Европы", под ред. Ф. и Л.Силницких, Нью-Йорк).

ботами Маркса и Ленина, но и с западной литературой и с самиздатом и с тамиздатом.

В коллективном ответе на вопросы французского журнала "Альтернативы" члены редакции "Вариантов" энергично заявляли, что "... с современной властью не может быть никакого сближения", но в отдаленной перспективе они надеялись, что при достаточно остром кризисе властвующий блок расколется и определенная его часть пойдет на сотрудничество с оппозицией (опыт Чехословакии 1968 года, Испании после 1976 года, Бразилии после 1978 года, Польши в 1980-1981 гг. и т.д.).

Они надеялись на вызревание новых форм, возможностей и масштабов оппозиционной деятельности в 1980-е годы, когда наряду с традиционным диссидентством (так они называли правозащитное движение) будут расти полулегальные независимые объединения — клубы, профсоюзы и т.п. и одновременно возникнет социалистическое подполье. Свое место они видели именно в организации этого подполья, полагая это развитием прежних диссидентских установок в изменившихся условиях.

Для этого была задумана Федерация демократических сил социалистической ориентации.

6 апреля 1982 года были арестованы Андрей Фадин, Павел Кудюкин, Борис Кагарлицкий, Юлий Хавкин, Владимир Чернецкий, а несколько позже — Михаил Ривкин в Москве и Андрей Шилков в Петрозаводске. Их обвинили в "антисоветской пропаганде" и в создании антисоветской организации, но — случай почти беспрецедентный — заступничество западных коммунистических и социалистических партий и согласие "раскаяться" привело к освобождению до суда всех, кроме Шилкова и отказавшегося от раскаяния Ривкина.

Неизвестно, сколько групп объединяла Федерация, тем более — сколько их по всей стране. Но идея этой Федерации возникла не на пустом месте. В конце 70-х годов, примерно тогда же, когда возник журнал "Варианты", в литовском самиздате появился неомарксистский журнал "Пер-

спективос" — за его выпуск были осуждены Витаутас Скуодис, Гинтаутас Ешмантас и Повилас Печелюнас. В то же время в Латвии Юрис Бумейстер возродил (в подполье, конечно) Латышскую социал-демократическую партию.

В Москве, в Ленинграде и в русской провинции надписи на стенах и листовки начала 80-х годов свидетельствовали о наличии подпольщиков-социалистов. Несколько таких кружков были раскрыты: группа "Новый путь", распространявшая листовки в Москве и на Красной Пресне, социалистическая группа в Выборге, Инициативная группа Ветрова в Куйбышеве. Известна также группа социалистов вокруг сборника "Социалист-82" (псевдоним издателя — Марк Волховской). Большинство из одиннадцати статей этого сборника (тоже подписанные псевдонимами) посвящены доказательствам несоциалистической природы советской системы. Практические действия, предпочитаемые этой группой, можно представить себе из статьи Я.Васина о польских событиях 1980 года, которые автор называет "социалистической по целям революцией" и о которых он пишет как об "оптимальном" пути массового ненасильственного сопротивления и классовой организации. Он весьма одобряет призыв не громить комитеты ПОРП, а создавать собственные.

Еще один коллективный труд авторов-социалистов — появившаяся в самиздате в конце 1983 года статья "Избирательная система в СССР и морально-политическое единство советского общества", подписанная "Марксистской общественной группой 68 80". Цифры эти указывают на идейную ориентацию группы — на Пражскую весну (1968 г.) и на польский профсоюз "Солидарность" (1980 г.).

В самиздате 80-х годов заметно участвовали по сравнению с 70-ми годами произведения марксистского и социалистического направления. Обнаруживают литературный талант и широкую образованность произведения Марка Волховского. К социалистическому направлению относится и работа Н.Аргуни "Русские социалисты и будущее России", критика работ Маркса с марксистских же позиций Виктора Арцимовича (Томск) "Противоречие на противоречии", и работа

физика Евгения Андрияшина "Положение рабочего класса в СССР — анализ проблемы с марксистских позиций" и критика с тех же марксистских позиций внешней и внутренней политики КПСС в работе "Погаснувший рассвет" Германа Обухова, исследование геолога Георгия Хомизури "История Политбюро ЦК КПСС" и др. Социалистическое направление в СССР имеет четкую демократическую окраску. Социалисты наряду с правозащитниками и пацифистами противостоят антидемократическим направлениям диссента — сталинизму, шовинизму и фашизму.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

О ЛИБЕРАЛАХ В СОВЕТСКИХ ВЕРХАХ

Вместо комментария

В своей статье Людмила Алексеева рисует широкую и малоизвестную на Западе картину деятельности социалистических кружков в СССР, показывая, какая драматическая судьба постигла большинство так называемых истинных социалистов. Вся их вина состояла лишь в том, что они мечтали привести бюрократическую советскую систему в соответствие с марксистскими идеями. Но и этого было достаточно для суровой полицейской расправы над сравнительно немногочисленными группами этих романтиков.

Куда меньше внимания автор (повидимому, это и не было предметом ее исследования) уделяет так называемому партийно-демократическому направлению диссидентского социализма, к которому причислял себя Рой Медведев.

Сегодня в связи со сменой советского руководства вопрос этот снова обсуждается в некоторых либеральных кругах интеллигенции. В какой-то степени дискуссии на эту тему проникли и на страницы эмигрантской печати. В

целом, вопрос можно было бы сформулировать так: "Есть ли в правящих кругах СССР люди, которые, если и не решаются открыто поддерживать демократические реформы, то и по крайней мере сочувствуют им? И если такие люди существуют, то каков их шанс оказать реальное влияние на существующий в стране режим?"

Начать хотелось бы с конкретных примеров, точнее с одного из них, который приводится в 37-м выпуске "Хроники текущих событий", а затем и в статье Людмилы Алексеевой. Речь идет о судьбе Лена Вячеславовича Карпинского, которого, как мы узнаем из "Хроники", в 1975 году исключили из партии и сняли с поста заведующего редакции научного коммунизма издательства "Прогресс". В течение многих лет я знал Лена Карпинского и потому позволю себе рассказать о нем более подробно. Может быть, рассказ этот поможет ответить на более существенный вопрос: "Что ожидает в СССР партийного работника, занимающего либеральные позиции?"

С Лением Карпинским я впервые встретился в подмосковном Доме отдыха Внешторга еще в школьные годы. Думаю, что мне было тогда лет шестнадцать. Учился я в девятом классе 170 Московской школы, и в Дом отдыха Внешторга попал на зимние каникулы по какой-то горящей путевке.

В комнатке, куда меня поселили, уже жили еще двое старшеклассников из Москвы, которые оказались сводными братьями: один назвал себя Лением, другой, кажется, Феликсом. Выяснилось, что их дальний родственник, живущий в Козицком переулке, мой однокашник по 170-ой школе и близкий товарищ. И как это бывает в юности, за каких-то несколько дней мы довольно близко сдружились.

Дело шло к окончанию школы и потому много говорили о том, кто и в какой институт собирается поступить. Несколько помню, ни я, ни Феликс не имели на этот счет определенного плана. Лен говорил, что он намерен посвятить себя, как и его отец, политической деятельности.

Вернувшись в Москву, я узнал от своего товарища из

Козицкого некоторые подробности биографии обоих братьев. Оказалось, что Лен был сыном ближайшего соратника Ленина и одного из виднейших деятелей революции В.Карпинского. Его сводный брат — Феликс, был сыном другого, малоизвестного человека. Что касается матери, с которой они жили, то ни тот, ни другой о ней не рассказывали. Позже я узнал, что мать их была еврейкой. У Лена было очень тонкое аристократическое лицо, большие синие глаза, он был высоким, худым, немного сутуловатым. Теперь мне кажется, что в его лице было что-то неуловимо-еврейское. Думаю, что это еврейство впоследствии оказало влияние на его судьбу.

Мы не стали ни друзьями, ни даже близкими знакомыми. Я поступил в юридический институт (на юрфак Университета не приняли), он (как я узнал от того же товарища из Козицкого) без малейшего труда попал на философский факультет МГУ. Лен был немного старше меня, и мы закончили занятия в один и тот же год. И что уж совсем интересно: нас распределяли в один и тот же день. Именно в этот день мы и встретились на улице Герцена, где находился Московский Юридический институт и в минутах десяти от него философский факультет МГУ.

Естественно, первое, о чем мы заговорили, было распределение: куда кого направили на работу. Стоял 1951 год — в самом разгаре был сталинский антисемитизм. Примерно 80 процентов выпускников юридического института были евреи, и почти всех направили в какую-то Тьмутаракань (типа Тюмени или Иркутска) или вообще оставили без места. Меня, по протекции нашего знакомого из Госконтроля, послали работать в Московскую область бухгалтером-ревизором. О чем я без всякого энтузиазма сообщил Карпинскому. По его лицу я видел, что и он расстроен. Оказывается, его направили в Горьковский обком комсомола — заведующим отделом пропаганды. Сын ближайшего соратника Ленина мог бы рассчитывать и на большее. Ни он, ни я не комментировали эти назначения: каждый боялся сболтнуть лишнее. Впрочем, он старался держаться бодро, давая понять, что надеется скоро вернуться в Москву.

Меня снова поразил его облик — молодого аристократа, никак не вязавшийся с расхожим представлением о комсомольском работнике областного масштаба, кем ему предстояло стать.

После этого наши дороги разошлись, и в течение многих лет мы не встречались. Я перешел работать в печать, был спецкорром Московского Радио, затем "Труда" и "Советских Профсоюзов". А Лен делал стремительную карьеру на комсомольской ниве и к началу 60-х годов стал секретарем ЦК ВЛКСМ по пропаганде.

На местах, куда он часто приезжал с докладами, о нем ходили легенды. Говорили, что он исключительно свободно и по-товарищески держится, кто бы к нему ни обращался. Однажды, по заданию "Труда", я приехал в один из периферийных городов, кажется в Караганду, и мне рассказали, что только что здесь был Карпинский. Выступал он по какому-то теоретическому вопросу — но говорил так, что слушатели еще битый час не хотели его отпускать, засыпали вопросами. А потом еще до полуночи его держала группа активистов. "Вот это человек! — восхищенно рассказывала мне секретарь местного горкома, — мы просто не можем его забыть!". Ходили слухи, что Карпинский должен стать первым секретарем ЦК ВЛКСМ, заменив на этом посту серого и бездарного Павлова, но этого не произошло. Павлов остался на своем посту, а Лена перевели на другую работу. Трудно сказать, было это понижение или повышение. Он стал членом редколлегии "Правды" по разделу пропаганды.

С его приходом газета начала публиковать статьи по проблемам марксистской теории. Их автором чаще всего был сам Карпинский. Они писались совершенно нетипичным для "Правды" стилем — чувствовалось, что автор — человек мыслящий, великолепно знающий первоисточники и стремящийся на их основе осмыслить происходящее.

В один из тех дней я и видел Карпинского в последний раз. Мы проходили с моим знакомым из "Молодой гвардии" мимо здания "Правды" и он предложил заглянуть на пару минут к Лену. Оказывается, он, как и я, знал его много лет.

Мы назвали секретарю наши фамилии и попросили доложить заведующему отделом пропаганды, что такой-то и такой-то хотят зайти по личному вопросу. Секретарь скрылась за дверью и, тотчас выйдя, сказала, что Лен Вячеславович нас ждет. Кабинет, в котором мы оказались, напоминал зал заседаний. За огромным, совершенно пустым столом сидел его хозяин, которого можно было принять за кого угодно — за актера, писателя, художника-модерниста, — но только не за заведующего отделом пропаганды газеты "Правда". На нем была яркокрасная, облегавшая его располневшую фигуру рубаша, заправленная в брюки (ни пиджака, ни галстука!), — казалось, рубаша эта и ее обладатель одним своим видом бросали вызов всей окружающей "правдистской" обстановке.

Карпинский сильно сдал, под глазами у него появились отечные мешки. Ходили слухи, что он пьет. Я уже не помню всего, о чем говорили. Помню лишь, что пересыпая свою речь матом, он обрушился на Пospelова: "Пока такие старые пердуны, как Пospelов, наверху, мы будем в болоте. А надо куда-то двигаться, что-то делать! Как говорит сын моего приятеля, "пора стрелять, пока только не известно куда, вверх или вниз!" — мрачно философствовал он.

Через несколько месяцев я узнал, что Карпинский с треском снят с работы за статью "На пути к премьере", написанную им совместно с Федором Бурлацким и опубликованную в "Комсомольской правде". Статья была направлена против цензуры.

Все дальнейшее в судьбе Лена Карпинского, которому прочили роль одного из идеологических руководителей страны, произошло уже после моего отъезда и известно из "Хроники текущих событий". По слухам, он опустил, много пьет и теперь уже вряд ли сумеет вырваться наверх.

Следующий пример, касается судьбы Виталия Александровича Сырокомского, который много лет был первым заместителем главного редактора "Литературной газеты" Чаковского. Не так давно он был снят, и по неофициальным данным, переведен в издательство "Прогресс".

В отличие от теоретика Карпинского, занятого разработкой проблем марксизма, Сырокомский по складу мышления и характера был стопроцентным прагматиком. Свою карьеру он начал в "Вечерней Москве", затем стал помощником секретаря Московского горкома партии (кажется Егорычева). И уже после этого был назначен первым замом Чаковского. Он был человеком здравого смысла, технократом и — что, пожалуй, самое важное — человеком глубоко демократичным и независимым. Ему, например, ничего не стоило пригласить полпреда к себе на дачу на планерку, расжечь костер и прямо у костра обсуждать план очередного номера. Это при его поддержке на всех ведущих постах "Литературки" оказались евреи. Он лично покровительствовал знаменитому "Клубу 12 стульев", был инициатором массы интересных материалов.

Вспоминаю, как я сам оказался на посту заведующего отделом информации "Литературки" — безо всяких рекомендаций, без заполнения анкет и прочих формальностей.

Сырокомский устроил конкурс на замещение должности заведующего — каждому было предоставлено право представить проспект будущих тем, рубрик и статей. Мой проспект был признан лучшим. Вечером Сырокомский меня познакомил с Чаковским, и в тот же день я стал заведующим отделом информации "Литгазеты". В заключение, он сказал: "Вы, конечно, авантюрист, но, может быть, нам именно такой и нужен!" Так он выполнял партийный принцип подбора кадров по деловым и политическим качествам. В свое время говорили, что Сырокомский с его размахом далеко пойдет, но я всегда чувствовал, что это факир на час. Так оно и оказалось.

И, наконец, последний мой пример. Относится он к далеким теперь уже временам и касается Алексея Ивановича Аджубея, зятя Хрущева, сделанного им главным редактором "Известий". Я не знаю, всем ли известно, какой огромной властью в стране пользовался Аджубей. Дело не только в том, что он был редактором правительственной газеты и членом ЦК. Хрущев возлагал на него все больше функций,

связанных с внешней политикой страны. Его называли теньвым министром иностранных дел.

В руководящих кругах у Хрущева было довольно много преданных людей, причем формально занимающих куда более высокие посты, чем Аджубей. Но, когда Хрущева свергли, расправились только с одним Аджубеем. Причина? По своему облику он резко отличался от партийного аппарата, стоящего у власти. Известно, что, когда Аджубей пришел в "Известия", он уволил половину старых сотрудников — просто за непригодностью (несмотря на их многолетний партийный стаж). И, напротив, привел с собой половину "Комсомолки". В большинстве это были евреи, которыми зять Хрущева обычно себя окружал.

"Известия" во времена Аджубея были самой острой и смелой газетой в стране — она вела борьбу против бюрократизма, коррупции, печатала письма и жалобы, свержала руководителей министерств и ведомств. Вот за это все и свершилась расправа над Аджубеем. В один день от него отвернулись все, в том числе его еврейские приближенные, и даже его заместитель и ближайший друг Григорий Ошеверов.

Я был знаком с Ошеверовым, и помню, как он расшаркивался перед Аджубеем. Когда тот позвонил ему из Америки, Ошеверов, преисполненный восторга и раболепия, докладывал ему: "Алексей Иванович! Все в полном порядке, в абсолютнейшем порядке! Можешь развлекаться, Алексей Иванович, отдыхать себе в Нью-Йорке, сколько влезет!"

Когда Аджубей был снят, Ошеверова словно подменили. Случайно я присутствовал при этом последнем их разговоре по телефону. На этот раз аджубеевский любимец отмахивался от него, как от назойливой мухи: "Ах, оставь ты меня, Алексей Иванович, оставь, ну что ты ко мне привязался! Выпил — пойди проспись!"

Все, словно по приказу, травили Аджубея, вся вина которого состояла в том, что он был — нет, не демократом, не диссидентом, а просто нетривиальным, ярким человеком.

Я специально в качестве примера взял трех совершенно разных людей. Как мы видели, каждый из них поднялся на оп-

ределенную ступень иерархии. И каждый был исторгнут партийным аппаратом из своих рядов. В принципе можно было представить ситуацию, что, скажем, тот же Карпинский, придя к идеологическому руководству страной, оказал бы поддержку Рюю Медведеву или, скажем, федерации демократических сил, возглавляемой Борисом Кагарлицким, Андреем Фадиным и другими, издававшими журнал "Варианты". Можно было бы — опять же теоретически — представить, что Сырокомский, став редактором "Литературы", совершил бы крутой поворот газеты, отвечающий задачам демократизации советского общества. Но в том-то и дело, что этим и подобным им людям, несмотря на их преданность идеям марксизма, никогда не дадут подняться до такого уровня, где бы они могли самостоятельно принимать решения. И приход новых людей к руководству страной мало что может изменить: партийные аппаратчики, находящиеся на одних ступенях иерархии, поднимаются на другие, но сущность аппарата не изменится.

Думаю, что "молодые" Рыжков или Лигачев по своей сути являются такими же "демократами", как "старики" подобные Громыко, и с равным страхом относятся к любому проявлению диссидентства. И не только диссидентства — к любому отступлению от выработанных партийно-бюрократических стереотипов. Не имеет значения, под каким знаком возникнет эта ересь — под знаком ли правозащитного движения, либерализации партии или истинного социализма, — все, что не соответствует интересам номенклатуры, будет объявлено антипартийным, антисоветским и подвергнуто сокрушительному разгрому. Впрочем, как я уже писал, это не значит, что в стране не возможны перемены. Напротив: похоже, они неминуемы, но проходить они будут не по воле верхов, а, скорее, вопреки этой воле, как внутреннее, необратимые процессы, продиктованные интересами выживания советского общества. Впрочем, это уже отдельная проблема, к которой мы, вероятно, еще не раз будем возвращаться.

АРДИС

Войнович, Владимир. Антисоветский Советский Союз. 1985. 298 стр. \$12.50

Раскрытию главной и тщательно оберегаемой тайны — реальной повседневной жизни советских людей — посвящена эта книга. В ней собраны истории из жизни крестьян, рабочих, военных, партийных бюрократов от низших до высших, писателей и из жизни самого автора. Из всех этих «картинок советской жизни» складывается общая цельная картина.

Войнович, В. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Лицо неприкосновенное. 1985. 287 стр. \$12.50

Книга пользовалась такой популярностью, что несколько ее изданий полностью распродано.

У нас также можно приобрести 2-ой том: «Претендент на престол. Новые приключения Ивана Чонкина». Париж, 1981. 357 стр. \$14.00

Аксенов, Василий. Скажи изюм. Роман в московских традициях. 1985. 372 стр. \$12.50

В рассказе о группе фотографов, решившихся на издание первого неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм», угадывается реальная история создания первого неофициального литературного сборника «Метрополь», одним из авторов которого был В. Аксенов. Однако роман интересен не только историческими аналогиями, но и юмористическим описанием быта творческой интеллигенции по обе стороны железного занавеса.

Соколов, Саша. Палисандрия. 1985. 296 стр. \$12.50

Герой нового «псевдоисторическою» и «псевдоэротического» романа С. Соколова «внучатый племянник сталинскому соратнику Лаврентия Бери и внук виднейшего сибирского прелюбодея Григория Распутина... автор публикуемых воспоминаний Палисандр Дальберг (XX-XXI в.в.) прошел по-наполеоновски славный путь от простого кремлевского сироты и ключника в Доме Массаж Правительства до главы государства и командора главенствующего ордена... Дотошно воссозданные им фрагменты интимной жизни правящей олигархии, в частности, этюды о совращении именитых кремлевских жен, описания самоубийств, покушений, казней, заметки о путешествиях, детских проказах и старческой проституции — то есть по сути вся толща воспоминаний читается безотлагательно».

Ardis Publishers

2901 Heatherway, Ann Arbor Michigan 48104 USA

Вокруг книги Григория Свирского "Прорыв"

Шимон МАРКИШ

КУДА ПРОРВАЛСЯ Г.СВИРСКИЙ?

"Народ и земля" № 3, 1985

Бывший советский писатель Григорий Свирский напечатал в 1983 году роман под названием "Прорыв".* Роман огромный — 530 страниц крупного формата, набранных мелко и убористо: объем "Анны Карениной", если не больше. Действие происходит в Москве, Израиле, Риме, Канаде, Соединенных Штатах. Тема — трагедия советских евреев, порвавших со своей страной и вырвавшихся на волю из советского рабства топыть для того, чтобы разочароваться в "исторической родине", встретившей их злобой и завистью, в мировом еврействе, да и во всем свободном мире, который не смог и не захотел их оценить. Действующие лица отчасти вымышленные (в первую очередь, семейство, или, лучше сказать, клан Гуров, во главе с идишистским поэтом Иосифом Гуром), отчасти существующие доподлинно (в первую очередь, автор-рассказчик, писатель Свирский). Впрочем, за вымышленными

Статья публикуется с разрешения гл. редактора журнала "Народ и земля" Ф.Дектора.

* Г.Свирский "Прорыв". Роман. Энн-Арбор, "Эрмитаж", 1983.

фигурами как главными, так и второстепенными, и даже мелькающими мимоходом и однократно, любой из посвященных, то есть как-то причастных к еврейскому эмиграционному активизму 70-х годов, без труда угадывает реальные прототипы. Такое угадывание входит, по всей очевидности, в авторский замысел: оно должно придать роману дополнительную историческую достоверность, закрепить за ним его характер документа и обвинительного заключения.

Но все же это роман (слово "роман" значит на титульном листе), и, следовательно, необходимо оценить его как произведение изящной словесности. В качестве таковой "Прорыв", как представляется автору эти строк, едва ли можно считать удачей. У "второй действительности", иначе говоря, у плодов писательского вдохновения и писательской фантазии, свои законы правдоподобия, диктуемые, по наблюдению Пушкина, "соразмерностью и сообразностью". Хаотическое нагромождение событий и образов у Свирского в высокой степени несоразмерно и ни с чем несообразно, скорее гора заготовок, чем хоть как-то организованное, выстроенное литературное целое. Столь же мало сообразен стиль и авторской речи, и речей героев. Общее ощущение, которое он оставляет, — это сумбурность и раздражающая суетливость. Удивительно, почему все эти Гуры говорят, как мелкая шпана или, в лучшем случае, пошлые "хохмачи". Впрочем, пошлое, дурной вкус — не только в стиле, но и в ситуациях. Чего стоит одна любовная сцена, в которой "голубая героиня", уступая исканиям безнадежно влюбленного вздыхателя, вручает ему на подержание большой палец правой ноги (стр. 90)! И даже на самом нижнем, чисто языковом уровне грубые неряшливости, а может быть, и прямые ошибки. "Вероничка... искричалась за своего незабвенного Менахема Бегина" (стр. 488) — Свирский забыл, а может быть, никогда и не знал, что "незабвенный" означает "приспомянутый", "оставшийся в памяти навсегда" и применяется только к ушедшим, к покойникам. "...Схватил книгу в толстых корешках... и тыча в ко-

решки пальцем..." (243) — писатель очевиднейшим образом не догадывается, что у каждой книги есть только один корешок (не говоря уже о том, что "книга в корешке" — выражение совершенно бессмысленное).

"Автор, пользующийся мировой известностью", "многоплановая эпопея, созданная пером мастера" — так Свирский скромно рекомендует себя и свой роман на обложке книги. Возможно, что кто-либо с этим и согласится, но мне казалось, что я читаю даже не профессионального литератора, а дилетанта. И я догадываюсь почему. Я надеюсь, что при всем своем непомерном самомнении Свирский не решится утверждать, что два его романа и повесть, увидевшие свет до эмиграции, отличались выдающимися литературными достоинствами. Прославился он — в московских литературных кругах и на Западе — не "пером мастера", но отвагой, действительно выходящей, безумным в советских условиях мужеством открытых выступлений против антисемитизма и цензуры. Что же до литературной продукции, то редакторы не только цензурировали ее, но и причисляли, приглаживали, доводили "до кондиции", до маломальски приемлемого композиционного и словесного уровня. Вышедшие на Западе "Заложники" — скорее репортаж, чем роман (авторский подзаголовок: "роман-документ"); да к тому же еще в Москве их читали, а следовательно, и поправляли товарищи по ремеслу ("Прорыв", стр. 166). "Полярная трагедия", вторая западная публикация Свирского, — прямая журналистика, хоть и снабжена подзаголовком "повесть и рассказы". Третья книга, "На лобном месте", — попытка очерков литературной жизни и быта послевоенной России, попытка, скажем прямо, с негодными средствами, полная самых невероятных промахов и пропусков. (О, как ей не хватало прилежного и придирчивого редактора!) "Прорыв" — первый художественный опус вольноотпущенника Свирского, сделанный на собственный риск и страх, без чужого глаза и совета. Смею утверждать, что беллетристу Свирскому воля на пользу не пошла.

Но смею предположить также, что не о славе беллетриста мечтал он, но о политической сенсации, которая громом прокатится по всей планете. И уж во всяком случае — по империи победившего социализма. ("Григорий, давай потолкуем серьезно... Поедут ли после твоей книги в Израиль?" — вопрошает самого себя автор устами одного из своих героев (стр. 520).) И уж вне всякого сомнения — по Израилю. Однако даже Израиль (не говоря уже о сверхдержавах и просто державах) остался невозмутим. Еврейская печать вообще не отозвалась на инвективы Свирского, бывшие же "русские" в своих газетах и журналах ответили большей частью бранью на утомительное многословие "Прорыва". Впрочем, и брань-то была скорее вялая, снисходительно-презрительная.

Оно и неудивительно. Свирский никак не открывает Америки. Уже слишком многие "русские" до него — и из числа новых израильтян, и из бывших репатриантов, покинувших, как и Свирский, Израиль, — изобличали израильскую бюрократию и израильские нравы, погубившие, как им представляется, алию из Советского Союза. И в Израиле, и в диаспоре уже устали от споров, кто и в чем именно виноват. Если Свирского бранили, так это за ложь, невежество и какую-то оголтелую запальчивость. Что от умышленной лжи, что от невежества, катастрофического незнания Израиля, еврейства, еврейской культуры, культуры вообще, языков — часто невозможно различить, но читатель, пожалуй, и не обязан. Зато писатель, действительно притязающий, как уже сказано выше, на историческую достоверность, обязан отвечать за "факты", которые он преподносит читателю. Тем более — после многозначительного предупреждения в предисловии: "Вся сюжетно-фактическая основа — **с т р о г о д о к у м е н т а л ь н а**" (стр. 8). Курсивом да еще и в разрядку!

Если верить Свирскому, с 1972 по 1981 год "Израиль... покинуло более полумиллиона коренного населения — сабры и старожилы" (в том же авторском предисловии). "По последним данным (каким? откуда взятым? — Ш.М.), в психиатри-

ческих больницах Израиля иммигранты из СССР занимают такой же процент мест, какой в свое время занимали беженцы из Освенцима и других лагерей уничтожения" (стр. 231, авторское примечание). "Юлий Марголин... написал "Путешествие в страну Зека"... напечатал в 46-м году. В Париже был процесс, где Марголина уличали во "лжи"..." (стр. 240)*. Существуют якобы "израильские паспорта со специальным штампом министерства внутренних дел Израиля: "Продлевать только с разрешения министерства абсорбции" (стр. 426). "По просьбе правительства Ицхака Рабина" израильских граждан, кроме тех, "у кого есть тридцать-сорок тысяч долларов", не впускают ни в одну страну, "израильский паспорт как бубновый туз на спине", что, впрочем, вполне естественно: "Что еще ждать от социалистов? Первая заповедь — запереть собственных граждан на замок!" (стр. 467). В Израиле существует цензура — не военная цензура, а цензура вообще, способная запретить "Маариву" печатать статьи о положении евреев в Советском Союзе (стр. 65). В 1963 году израильское посольство в Москве "предотвратило еврейский взрыв" — коллективное письмо группы рижских евреев с отказом от советского гражданства, письмо, которое могло бы взбудоражить мировое еврейство за семь лет до Ленинградского процесса (стр. 74). В приемном зале для репатриантов в аэропорту Лод стоят солдаты с автоматами и неотрывно следят за вновь прибывшими, сопровождают их даже в уборную (стр. 165).

Наверное, довольно примеров. При этом я умышленно не упоминаю о тех случаях (весьма многочисленных), ког-

* На всякий случай поясню: Юлий Марголин (1900-1971) — израильский литератор, писавший по-русски; провел годы второй мировой войны в ГУЛАГе, вернулся в Израиль в 1947 г., книгу свою "Путешествие в страну Зека" впервые выпустил во французском переводе в 1949 г., а "во лжи" в Париже пытались уличить не Марголина, а первого советского послевоенного перебежчика Кравченко, автора книги "Я выбрал свободу", и французского борца с коммунистическим тоталитаризмом Давида Руссе; Марголин же выступал на процессе лишь как свидетель и очевидец, доказывая правоту Кравченко.

да Свирский искажает хорошо известные факты из жизни хорошо известных людей, прячась за прозрачными псевдонимами. Но не могу отказать себе в удовольствии привести пример поистине гомерической неграмотности нашего романиста. Цитируя на стр. 199 строки Николая Гумилева ("Вот девушка с газельими глазами / Выходит замуж за американца / Зачем Колумб Америку открыл?"), автор приписывает их Козьме Пруткову (?!), да и того именует Кузьмой.

Беспощадный критик израильской армии, все надежды свои возлагающий только на то, что "русские" наведут в ней порядок (стр. 366-367), не знает едва ли не самого первого в армейском лексиконе слова — *милуим**: пишет его *мЕлуим* (стр. 341, 529). Видимо, он никогда не держал в руках *пинкаса милуим***, а еще вероятнее — даже еврейских букв не знает. Не знает он и того, что главы Библии разделяются на стихи, а не на строфы (стр. 7). Ему же принадлежит открытие века в области лингвистической географии и еврейской антропологии: "По улице Виа Долороса.... шествовали два еврея-туриста. Белокурые. Не то из Швейцарии, не то бельгийцы. По языку не поймешь..." (стр. 272). Писатель мимоходом извещает, что преподавал в университетах Канады и США. Бедные студенты!

Озлобленность Свирского -- на грани патологии. Прежде всего, конечно, — против Израиля, куда слетелось жулье со всего света. В кошмарной сцене первой встречи с "исторической родиной", в аду аэропорта Лод, он видит лишь одно нормальное и симпатичное человеческое лицо — лицо чьей-то русской матери, "доброе, морщинистое лицо русской крестьянки, которую в первый раз привели в зоопарк" (стр. 165). Боюсь, что это ощущение самого Свирского: кругом одни звери, монстры. С ненавистью и брезгливостью смотрит он на людей простых, бескомплексных, легко и

* Милуим — военные сборы резервистов.

** Пинкас милуим — военный билет резервиста.

быстро вживающихся в новую реальность, на простые, "неинтеллигентные", "непрестижные" в советских — единственно и знакомых, и понятных Свирскому — обстоятельствах профессии (стр. 199), на "черных евреев — "грузин", "марокканцев". Он жаждет мести — грезит о том, как ответственных "за гибель русской алии отдадут под суд" (стр. 453). Но не только Израиль ненавидит он до дрожи, до кровавой пелены в глазах, ненавидит он и мировое еврейство, помогающее еврейскому государству, которое представляется ему бандой наглецов, циников, хлопочущих только о собственной выгоде и тешащих собственное тщеславие (стр. 389-390, 498-499). И Запад в целом обернулся для Свирского сплошным разочарованием: он оказался действительно бездуховен (повторяется многократно, см., напр., стр. 492), как предупреждают советские газеты и журналы, как вещали еще в прошлом веке славянофилы.

"Прорыв" — очень плохая, до отвращения скверная книга. Это все, что можно о ней сказать, оставаясь в рамках литературных приличий. И все же преобладающее чувство, которое она у меня вызывает, — не отвращение, а какое-то горестное удивление.

Когда я семь лет назад прочитал "Прощай, Израиль!" Эфраима Севелы, все было ясно. Я вспомнил рассказ моего старого друга, известного — и по заслугам! — советского поэта. 13 января 1953 года, в день, когда во всех газетах было напечатано сообщение о раскрытии "заговора врачей-убийц", моему другу позвонил один композитор, автор популярных песен, такой же еврей, как и мой друг. "Саша, — сказал он, задыхаясь от волнения, — ты уже читал?" "Читал", — еле выдавил из себя поэт. "Саша, — продолжал композитор, — давай рванем шлягер с припевом о врачах-убийцах, пока нас другие не обставили! Музыка у меня уже есть, садись, скорее, пиши слова!" Точно так же и Севела: он учуял спрос, "золотую жилу" и поспешил ее "застолбить". Сколько она ему принесла, не знаю, но что касается психологии, мотивов — тут все как на ладони. (Если кого интересуют подробности, позволю себе отослать его к моей

статье, напечатанной в "Commentary", Vol. 66, No. 6, December 1978).

Однако Свирский — не Севела. Пусть даже и весьма посредственный писатель, в Москве он был и смелым, и честным, и бескорыстным. Что же толкнуло его на "Прорыв"?

Проще всего, наверное, заподозрить ожесточение неудачника, комплекс, слишком хорошо знакомый новым эмигрантам из Советского Союза, и особенно — в Израиле: Израиль не оправдал моих надежд, не оценил по достоинству моих способностей и возможностей, а то и умышленно загородил мне путь к успеху. И вот, отряхнув от стоп своих прах недавно еще столь возделенной "исторической родины", обиженный изливает и облегчает душу в горчайших жалобах, или ядовитейших сарказмах, или бешеных нападениях — в зависимости от темперамента, — и при этом лжет необузданно, в твердой, однако ж, убежденности, что каждое его слово — сама истина. Что-то от этого комплекса есть, несомненно, и у Свирского. Но есть, хотелось бы верить, и другое.

В жалком и болезненном словоизвержении Свирского мне слышатся угрызения совести, мучительная и неотложная потребность оправдаться, доказать самому себе, что он никого и ничего не предал, никому и ничему не изменил, остался восторженным, не от мира сего, идеалистом в сем мире расчетливого и грубого материализма. Эти муки нечистой совести — отнюдь не беспочвенные! — доводят его до умоисступления, до мании преследования (сочетающейся, как водится, с манией величия). Но искренность мук вызывает к сочувствию, подсказывает, что не стоит винить слишком сурово Григория Свирского, которому тяжесть свободы пришлось не по плечам, хитросплетения свободной жизни — не по разуму.

Обдумывая эти строки, я поймал себя на мысли, что вроде бы кого-то цитирую, пересказываю что-то чужое. И правда! Ведь я парафразирую Василия Гроссмана, главу 7 из "Все течет..." — главу о доносчиках. Она начинается словами: "Кто виноват, кто ответит?.. Надо подумать, не надо спешить с от-

ветом", а заканчивается: "Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы, на них давили триллионы пудов, нет среди живых невинных... Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?" Да, да, так оно и есть: хоть и жалко, но нестерпимо стыдно за Григория Свирского, который "прорвался" в компанию мосеров, доносчиков на народ, ненавидимых народом на всем протяжении его истории.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК"

в ближайшее время выходят книги:

Владислав ХОДАСЕВИЧ. КОЛЕБЛЕМЫ ТРЕНОЖНИК

Статьи о литературе. Избранная проза, том 2.

(260 стр. Цена - 17.50)

Во второй том избранной прозы В.Ходасевича вошли статьи о писателях и поэтах — современниках автора: Н.Гумилеве, В.Сирине (Набокове), Б.Поплавском, И.Бунине, Д.Мережковском, А.Блоке, А.Белом, В.Маяковском и др. В книге также помещен обширный комментарий к статьям и указатель имен на оба тома.

Первый том Избранной прозы В.Ходасевича "БЕЛЫЙ КОРИДОР. ВОСПОМИНАНИЯ", который является продолжением известной книги Ходасевича "Некрополь", можно приобрести в издательстве "Серебряный век" или по адресу редакции "Время и мы". В книге 310 стр. Цена - 17.50.

Георгий АДАМОВИЧ. СОМНЕНИЯ И НАДЕЖДЫ

Статьи о литературе. Избранная проза, том 1.

(260 стр., цена 17.50)

**Второй том Избранной прозы Г.Адамовича
РАЗМЫШЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ**

готовится к печати.

Адрес издательства: SILVER AGE PUBLISHING
P.O.Box 384 Rego Park New York, 11374

Е.МАЙДАНИК

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

или Шимон Маркиш рецензирует... себя

В № 3/58 выходящего в Израиле журнала еврейской культуры "Народ и земля" в разделе "Книги и мнения" под заголовком "Куда прорвался Г.Свирский?" был помещен материал, который заслуживает особого рассмотрения. Почему? Книгу Свирского "Прорыв", ставшую объектом критики (как и три другие его книги: "Заложники", "Полярная трагедия" и "На лобном месте", упоминаемые вскользь), может прочитать каждый. Автор материала "Куда прорвался Г.Свирский?" Шимон Маркиш пишет, что бывшие "русские" в своих газетах и журналах ответили большей частью бранью на утомительное многословие "Прорыва".

Недавно, по случаю приезда Г.Свирского в Израиль из Канады, где он проживает сейчас, состоялись обсуждения его работ (и, как можно было предвидеть, его личности). Кажется бы, достаточно много людей знают о существовании книги, и если кто-то еще не прочитал ее, значит, на это есть причина: либо человек бросил читать, наткнувшись на какие-то ве-

щи, позволившие составить ему окончательное мнение, либо для него достаточно самого факта проживания автора вне Израиля (пусть даже он и приехал сначала в страну), либо он составил свое мнение на основании чьего-то мнения — высказанного устно или в виде отклика, или, наконец, в форме материала, о котором пойдет речь в этой статье.

Признаться, мне скорее по душе люди, которые хотя бы видели книгу. Но материал "Куда прорвался Г.Свирский?" (только для экономии места я буду условно именовать его рецензией, а вместо имени автора употреблять сокращение Ш.М.), по моему убеждению, представляет самостоятельный интерес как образец известного жанра и поэтому заслуживает изучения, причем даже вне связи с романом "Прорыв". Я не мазохист. И если меня спросят: "А зачем вообще говорить об этом материале Ш.М.?" — я смогу ответить: недавно в своей рецензии на книжку Е.Евсеева "Палестинцы — непокоренный народ" я писал, что раз уж такие книжки издаются, о них следует знать. А уж оценить их по достоинству в состоянии каждый читающий. Рецензия Ш.М. каждой своей строчкой (а всего их около 300) вызывает: не читайте "Прорыв"! Ненавидьте Свирского! "Вот я и предлагаю посмотреть, что можно узнать из рецензии о самом рецензенте Ш.М.

Удобства ради разобью анализ на три части: ссылки на текст с указанием страниц книги "Прорыв"; пересказ частей текста, часто с собственными комментариями Ш.М. и, наконец, рассуждения об остальных книгах Свирского, о других книгах других авторов и о самом Свирском.

ССЫЛКИ НА ТЕКСТ

1. "И даже на самом нижнем, чисто языковом уровне,— грубые неряшливости, а может быть, и прямые ошибки. "Вероничка... искричалась за своего незабвенного Менахе-ма Бегина" (стр. 488) — Свирский забыл, а может быть, никогда и не знал, что "незабвенный" означает "приснопамятный", "оставшийся в памяти навсегда" и применяется только к ушедшим, к покойникам".

Выражение "забыл, а может быть, никогда и не знал" — весьма обязывающее. Откроем словарь (поскольку Ш.М. не ссылается на источник). Читаем: "Незабвенный" (одно из значений — Е.М. — забываемый: "И это я пишу тебе — тебе, мой единственный и незабвенный друг, Тургенев". Источник: Словарь русского языка, изд-во "Русский язык", М., 1983, т. 11, К-О.

Комментировать не хочется. Но будет, пожалуй, уместно упомянуть, что Ш.М. далее приводя фразу из "Прорыва" "два еврея-туриста. Белокурые. Не то из Швейцарии, не то бельгийцы. По языку не поймешь..." (стр. 272), пишет: "Ему же (Г.Свирскому — Е.М.) принадлежит открытие века в области лингвистической географии и еврейской антропологии... Писатель мимоходом извещает, что преподавал в университетах Канады и США. Бедные студенты!"

Признаться, я не очень понимаю, на что намекает Ш.М. Если предположить простейший вариант, то в тексте "Прорыва" мыслится ассоциация с французским языком, на котором говорят в Швейцарии, и в Бельгии, в сочетании, возможно, с акцентом (еврейским?). В Швейцарии (об этом говорится в разделе "Коротко об авторах", "Народ и земля", № 3/84) живет Ш.М. Может быть, Г.Свирскому следовало дать примечание для лингвистов? Над чем иронизирует рецензент? А если писатель Свирский преподавал, скажем, студентам отделения русской литературы? Что тогда?

Но вернемся к тексту рецензии. Итак, "на чисто языковом уровне грубые неряшливости". Может быть, это — грубая неряшливость, а, может быть, и прямая ошибка, вряд ли простительная профессору классической филологии, к тому же поучающему других тонкостям русского языка.

2. Ш.М. пишет, что Свирский "не знает едва ли не самого первого в армейском лексиконе слова — милуим: пишет его мЕлуим (стр. 341, 529)... Не знает он и того, что главы Библии разделяются на стихи, а не на строфы (стр. 7)".

Слово "милуим" — ненормативное. Что творится в области транслитерации ивритских слов, причем не только в книгах и периодике на русском, но и на английском, — пред-

мет отдельного исследования. В БСЭ и упомянутый выше трехтомный словарь русского языка слово "милуим" пока еще не вошло. Кстати, даже если настаивать на варианте "милуим", следовало бы упомянуть, справедливости ради, что, во-первых, слово это дается в сочетании "пинкас милуим" не на русском, а на иврите, а во-вторых, можно допустить и такой вариант: автор з н а е т написание слова, но просто не заметил ошибки в наборе.

Теперь о стихах и строфах. В религиозной литературе на русском языке, выходящей в изобилии на Западе, вообще, и в Израиле — в частности, также нет единства. Не будучи экспертом в этой области, ограничусь ссылками на справочные материалы, имеющиеся под рукой. "Строфа — соединение двух или более стихов, составляющих единое ритмическое и интонационное целое" (Словарь иностранных слов, М. 1980); "Шестистопное стихотворение... стопа состоит из 3 слогов..." (Владыко вселенная, сборник "Дом Божий", переиздано в Израиле в 1972 г. с изменениями с дореволюционного издания).

Выражаясь языком самого Ш.М., опора на такие примеры — это "попытка, скажем прямо, с негодными средствами" (рецензент этими словами оценивает книгу Свирского "На лобном месте", причем не приводит ни одного примера в подтверждение). И это — его козырные карты.

Что еще приводит Ш.М. в доказательство утверждения: "Прорыв" (как произведение изящной словесности) вряд ли можно считать удачей?"

3. "Чего стоит одна любовная сцена, в которой "голубая героиня", уступая исканиям безнадежно влюбленного вздыхателя, вручает ему на поддержание большой палец правой ноги (стр. 90)!"

Передавая содержание сцены, вместо того, чтобы (как это принято) цитировать, да еще отсекая объяснение Геулы: "На правой ноге большой палец отморожен в тюрьме. Ничего не чувствует", — Ш.М. "доказывает свой тезис, что "пошлость, дурной вкус — не только в стиле, но и в ситуациях".

Ничего больше в подтверждение "пошлости" он не приводит. Интересно отметить, что выражение "голубая героиня" принадлежит самому Ш.М. как и "искания безнадежно влюбленного вздыхателя", причем первая поставлена в кавычки им самим. Такой прием, как известно, широко применяют советские рецензенты, например, упомянутый выше Е.Евсеев. Кстати, многие другие приемы Ш.М. кажутся очень знакомыми. Здесь уже уместно говорить о школе.

4. "Юлий Марголин... написал "Путешествие в страну Зека"... напечатал в 1946-м году. В Париже был процесс, где Марголина уличали во "лжи"... (стр. 240)". Ш.М. пишет: "во лжи" в Париже пытались уличить не Марголина, а... Кравченко... Марголин же выступал на процессе лишь как свидетель и очевидец...". Но ведь понятно, что свидетеля и очевидца на процессе могли "уличать во лжи", иначе для чего существует перекрестный допрос?

Как говорит Ш.М., "довольно примеров" со ссылкой на текст. Пойдем дальше.

ПЕРЕСКАЗ ЧАСТЕЙ ТЕКСТА

5. "Тема (романа) — трагедия советских евреев, порвавших со своею страной и вырвавшихся на волю из советского рабства только для того, чтобы разочароваться в "исторической родине", встретившей их злобой и завистью... семейство, или, лучше сказать, клан Гуров..."

Снова Ш.М. прибегает к бездоказательным утверждениям, ибо ничего этого нет ни в редакционном сообщении на последней странице обложки, ни в самом тексте. И кавычки к словам "исторической родине" подставлены самим рецензентом. Слово "клан" также отсутствует в тексте. Ш.М. его приписывает автору. Заметим, кстати, что в советской литературе это слово имеет вполне определенный негативный оттенок. Вспомним хотя бы "Ку-клукс-клан".

6. "Автор, пользующийся мировой известностью"... так Свирский скромно рекомендует себя... на обложке книги" — пишет Ш.М. На самом деле в тексте, принадле-

жащем редакции, сказано: "Заложники" и "На лобном месте" были переведены на многие языки и принесли автору мировую известность".

7. " ("Заложники")... в Москве читали, а следовательно, и поправляли товарищи по ремеслу ("Прорыв", стр. 166) " — у Ш.М. В тексте: "Давал читать самым близким. По секрету. Друзьям Полины, Юре Домбровскому, Александру Беку... И никто нас не продал..." О "поправляли" — ни слова. "Следовательно" — полностью от Ш.М.

Хватит, пожалуй. Перейдем к рассуждениям автора.

РАССУЖДЕНИЯ...

Сначала несколько цитат.

"Мне казалось, что я читаю даже не профессионального литератора, а дилетанта", "редакторы не только цензурировали ее (литературную продукцию Свирского), но и причисывали, доводили "до кондиции", до мало-мальски приемлемого композиционного и словесного уровня", "Прорыв" — первый художественный опус вольноотпущенника Свирского, сделанный на собственный риск и страх", "Озлобленность Свирского — на грани патологии", "Боюсь, что это ощущение самого Свирского: кругом один звери, монстры. С ненавистью и брезгливостью смотрит он...", "Он жаждет мести... Но не только Израиль ненавидит до до дрожи, до кровавой пены в глазах..."

Здесь, пожалуй, стоит несколько отвлечься, чтобы показать, как Ш.М. рассказывает в рецензии не о Свирском, а о самом себе.

"Дилетант"? — А как бы вы назвали рецензента, насмехающегося над употреблением слова "незабвенный", и при этом настолько нерадивого, что не потрудился заглянуть в словарь, а впридачу еще настолько наивного, что не подумал: а вдруг кто-то сделает это за него, да еще и самоуверенного, надеющегося, что этого не сделают другие — редакторы и корректоры журнала "Народ и земля"?

О з л о б л е н н о с т ь Свирского — на грани патоло-

гии"? — Нужно ли говорить, кто озлоблен на грани патологии? "С ненавистью и брезгливостью смотрит он..."? — Вот слова Ш.М.: "(Свирский) "прорвался" в компанию м о с е р о в , доносчиков на народ, ненавидимых народом на всем протяжении его истории".

Еще один прием Ш.М. Приводить весь отрывок не стану, укажу только, что он начинается с фразы: "Когда я лет семь назад прочитал" и заканчивается: "Что же толкнуло его на "Прорыв"? Перескажу схему своими словами. От Эфраима Севелы, написавшего книгу "Прощай, Израиль!" — к некому композитору, предложившему 13 января 1953 года "рвануть шлягер с припевом о врачах-убийцах" — к заключительным словам: "Однако Свирский — не Севела" — выстраивается следующая цепочка: заведомо (для Ш.М.) отрицательный тип — Севела (которому по ходу дела приписываются разные низменные мотивы) — затем совершенно ничтожный композитор — и, наконец, Свирский.

Сравните эту цепочку со следующим тезисом: "Да, в "Ансаре" пока нет газовых камер и крематориев, как в гитлеровских лагерях смерти. В остальном же, как видите, они мало чем отличаются друг от друга, особенно если внести поправку на масштабы и время". Это — из "Литературной газеты" № 23 (4985), июнь 1984 г., статья Владимира Белякова "Трагедия "Ансара", рубрика "Расследование "ЛГ".

Обдумывая эти строки, я поймал себя на мысли: да ведь рецензия Ш.М. на "Прорыв" (и на Свирского) как будто написана для советского издания — причем не для журнала "Новый мир", где, согласно справке об авторах, Ш.М. сотрудничал в 60-е годы, а для нынешней "Литературки", "Правды", "Известий"! И я ничуть не удивлюсь, если прочту его рецензию "Куда прорвался Г.Свирский?" — может быть полностью — в одной из этих газет.

Кстати, советские пропагандисты очень любят цитировать израильские и западные источники. Цитировали и обруганного рецензентом ни за что ни про что (в связи с чужой книгой) Эфраима Севелу.

Но там речь шла о выборочном цитировании; Ш.М. же

можно печатать полностью, а это, как говорят в Одессе, "две большие разницы".

Что можно сказать о рецензии в общем? Ее основные элементы: обрыв цитат, (п. 3 выше); домыслы и приписывание автору утверждений, которых он не делал (пп. 5-7); гипертрофическое преувеличение отдельных погрешностей (пп. 1,2); привлечение по ассоциации других произведений Свирского, а заодно и других авторов "несостоявшихся" вещей; "нагромождение" и приписывание автору кавычек, если они нужны по ходу дела рецензенту и, наконец, грубая брань и оскорбления, сопровождаемые изящно выраженным желанием остаться "в рамках литературных приличий".

Что же толкнуло Ш.М. на написание этой рецензии? Сам он этого прямо не говорит. Поскольку он пытается разобраться в мотивах Свирского, было бы уместно попытаться понять и его мотивы.

Мне рассказывали, что в том же "Новом мире" существовала рабочая формула "Зубы выше головы" — это, когда злоба автора сильнее его таланта или здравого смысла. Не знаю, знаком ли с этой формулой Ш.М., который, согласно справке, "Окончил отделение классической филологии МГУ. Автор многих работ по классической и современной литературе... Профессор Женевского университета". Но злоба просто источается со страниц его рецензии. Причины? "Проще всего, наверно, заподозрить" личные мотивы. Но попробуем быть справедливыми к Ш.М. и рассмотрим другие варианты.

1. Ш.М. обиделся за "изящную словесность" и за самоназвание "роман". Действительно, он придает, как кажется, немалое значение точному определению жанра, поэтому и пишет: книга "Заложники" — "скорее репортаж, чем роман", а "Полярная трагедия" — "прямая журналистика, хоть и снабжена подзаголовком "повесть и рассказы". И плюс еще то, что он считает языковыми дефектами. Уверен, одного этого было бы недостаточно для такого "избиения" автора "Прорыва".

2. Ш.М. обиделся за Израиль и его народ, на который, по его версии, доносит Свирский. Тоже маловероятно. И не толь-

ко потому, что сам Свирский, в отличие от Ш.М., приехал в Израиль, жил там и продолжает там постоянно бывать. Главное здесь, как кажется, заключено во фразах: "Свирский никак не открывает Америки". "И в Израиле, и в диаспоре уже устали от споров, кто и в чем именно виноват" (имеется в виду провал еврейской алии). Эти слова наводят Ш.М. на мысль о некоем "социальном заказе". Ибо стоит собраться мало-мальски представительной группе выходцев из СССР — и кто-нибудь непременно предлагает: "Нужно создать комиссию по расследованию провала алии". Готовится — много лет, и пока без шансов на издание — "Белая книга" по этому вопросу. Любой "русский список" на выборы выдвигают в первую очередь с надеждой на возможность поставить этот вопрос.

Могучие силы (о них рассказывается в "Прорыве") действуют против тех, кто еще не устал от споров. Но это — предмет отдельного разговора. Впрочем, удаленность Ш.М. от Израиля ставит под сомнение версию "Ш.М. выполнял социальный заказ". Да и определение — "катастрофическое незнание Израиля" звучит в устах Ш.М. мягко говоря сомнительно, ибо сам он ничем не доказал своего знания страны. Возникает даже подозрение, что этот раздел рецензии писал не он, а кто-нибудь другой, знающий Израиль, живший или живущий в стране сейчас.

Приходится вернуться к личным мотивам. Вот что сообщает нам Ш.М. по этому поводу: "За вымышленными фигурами... любой из посвященных... без труда угадывает реальные прототипы. Такое угадывание входит, по всей очевидности, в авторский замысел..."

Ни автор, ни редакция (в кратком описании на последней странице) ничего не говорят об угадывании. В авторском вступлении сказано ясно: "Все герои этой книги... вымышлены (кроме отмеченных звездочкой при первом упоминании)". Добавлю от себя: прием "похожих" фамилий используют многие авторы, например, Александр Зиновьев.

Ш.М. — не мальчик, который не понимает, почему, скажем, В.Максимов — редактор "Континента", охотно печатает писа-

теля и журналиста В.Максимова, причем не только в колонке редактора, но и в других разделах, и не спрашивает его о фамилиях знакомых ему носорогов. Да напечатай он хоть одну носорожьё фамилию, его бы по судам затаскали.

Думаю, что Ш.М. заподозрил что-то очень личное в романе "Прорыв" — и решил ударить по Свирскому. На стр. 456 романа есть слова: "Всегда, в каждой алии ("алии" — так в оригинале — Е.М.), покупали людей, которые говорили потом от имени алии... купили сорокалетнего сиротку Маркитанта, которого за муки отца приняли в Израиле, положили в вату, оклад назначили, а теперь он пишет в ивритской печати (чтоб русские не узнали), что иммигранты из России — рвачи и негодяи. Чем ты лучше Давида Маркитанта, нагнетающего враждебность к русской алии?! Вот вы уже вместе выступаете!.. — Гу-уля! Гуленок! С кем ты меня сравниваешь?!"

Я не стал бы приводить такую длинную цитату из "Прорыва", если бы не одно интересное совпадение.

У Эфраима Севелы в книге "Остановите самолет — я слезу" есть образы "профессионального сироты", вдовы еврейского артиста, ликвидированного Сталиным, и еще нескольких видов "детей лейтенанта Шмидта". А у Ш.М. в рецензии на роман Свирского появляется в роли сверхзлодея Эфраим Севела. Мистика сплошная. Кажется, слова Ш.М. об "угадывании" позволяют пролить свет на его мотивы.

Но — довольно. Отнюдь не желая ничего навязывать тем, кто прочитает эту (вынужденно пространную) статью, я, тем не менее, хотел бы подвести итоги. То, что написал Шимон Маркиш о книге "Прорыв", других книгах Г.Свирского и о самом Свирском — это п а с к в и л ь. Грязный, подлый, и безответственный. Не знаю, как появилась эта рецензия в журнале "Народ и земля" — то ли редакция ее заказала, то ли она пришла самолетом. Но это не имеет существенного значения. Ответственность за рецензию несут и председатель редакционного совета Ицхак Мерас, и главный редактор Феликс Дектор, и литературный редактор Наталья Рубинштейн.

В рассказе Джека Лондона "Мексиканец" есть такие слова: "он (Денни) прибежал к таким подлым приемам, кото-

рые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа... Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Денни, помогали ему, отлично зная, что у него на уме".

Слава Богу, у нас в Израиле, да и не только в Израиле, дела обстоят получше. "Прорыв" читают, покупают, книга расходуется и в Союзе. Ее перевели и должны напечатать на иврите. Так что защищать "Прорыв" мне нет никакой необходимости. Но я очень хотел бы, чтобы побольше людей все-таки прочитали и рецензию "Куда прорвался Г.Свирский?" Мне кажется, что в этом случае отношение читающей публики к Шимону Маркишу и публикующим его изданиям сильно изменится.

От редакции. Публикуя статьи Шимона Маркиша и Е.Майданика о книге Григория Свирского "Прорыв" редакция надеется, что читатели примут участие в этой полемике и выскажут свое отношение как к книге Г.Свирского, так и к статьям, публикуемым в этом номере.

Григорий СВИРСКИЙ ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников", Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, которых судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки
высылать по адресу:

Hermitage Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

Надежда ЛЕВИНСКАЯ

САГА О ВЭЛФЕРЕ

Записки социального работника

Уезжая из СССР, я, как и каждый из нас, рисовала свое будущее, пыталась представить день, когда я переступлю порог первого в своей жизни американского учреждения. Но я вряд ли могла представить, что этот день станет таким, каким он стал, и что волею судьбы жизнь моя окажется связанной, может быть, с самым необычным социальным институтом Америки. Впрочем, с моей специальностью учительницы английского выбирать особенно не приходилось. И когда в агентстве по трудоустройству меня спросили, согласна ли я заниматься вэлфером, я тут же согласилась. Но что это за работа и с какими людьми и нравами мне придется иметь дело, не имела ни малейшего представления.

Я, конечно, знала, что неимущие в Америке получают социальную помощь и что коренные американцы обычно ворчат — де, слишком много развелось на нашу голову этих самых вэлферщиков, живущих на наши налоги. Теперь мне предстояло погрузиться в самую гущу этой жизни, о которой я и попробую рассказать.

Итак, вот уже пятый год, обычно в одно и то же время, половина девятого утра, я вхожу в парадное старинного двухэтажного здания на самом Верхнем Бродвее. Над входом — большая четырехугольная вывеска "Department of Social services", что при переводе на русский означает "Отдел социального обслуживания".

Примерно, в 15-20 улицах к югу от нашего офиса начинается знаменитый Гарлем, где, как говорят, даже черные по вечерам предпочитают не выходить на улицу. К северу от нас расположен Вашингтон Хайтс, который когда-то по преимуществу заселяли немецкие евреи. Теперь это в основном район пуэрториканцев, выходцев из Доминиканской республики, меньший процент составляют негры, живет довольно много эмигрантов из СССР. Вот они-то все, точнее представители этих четырех этнических групп, и есть наши клиенты.

Место, где расположено наше учреждение, довольно красиво: Бродвей, большие, хоть и нередко уже ветхие от времени дома. Напротив нас — великолепный парк, про который рассказывают, что когда-то он был излюбленным местом для прогулок немецких эмигрантов. Теперь парком можно любоваться только издали — входить туда небезопасно даже днем.

По утрам, перед открытием офиса, у парадного обычно стоит очередь — если день хороший, то бывает человек 50-60. Я уже давно привыкла к тому, что клиентов больше, чем мы можем принять. Общее число их в нашем Центре — примерно тринадцать тысяч, а работников у нас около четырехсот. Чтобы покончить с цифрами, скажу, что в учреждении создано 19 групп, в каждой по пять сотрудников, занимающихся вопросами вэлфера.

Что значит заниматься вэлфером? Моя должность называется "элиджибилити специалист", моя обязанность — проверять законность получения вэлфера. У каждого на попечении 160 семей. Ежемесячно 32 семьи находятся на проверке, то есть пересматриваются их дела: проверяется адрес, семейное положение, количество детей, отсутствие доходов и имущества.

Кто же наши сотрудники? Их состав, — в сущности — зеркальное отражение состава наших клиентов: пуэрториканцы, испанцы, черные, и после моего прихода, даже одна русская. Впрочем, тут есть поправка: среди руководства немало евреев и, как я дальше покажу, это отражается на внутренних взаимоотношениях.

Но когда в один из ноябрьских дней 1981 года я впервые переступила порог Центра, всего это я, разумеется, не знала. А думала лишь о том, как встретят и что меня ожидает за стенами этого здания.

Насколько я помню, не встретили никак. Никто даже не взглянул в мою сторону. Работать послали в регистратуру. Представляла меня тогдашняя директор мисс Пейдж, молодая, знающая и очень милая негритянка, которая сказала начальнице регистратуры, что я буду здесь работать. И еще, что я знаю языки. Та позвала другую негритянку, по имени Ненси Браун, и словно бы в воздух произнесла: "Пусть она учится у тебя".

Все необходимое было сказано, и Ненси, едва поведя глазом в мою сторону, углубилась в дела. А я, глядя на нее и на все происходящее, ничего не понимала. Все было, вроде, просто. Клиенты подходили к окошку, протягивали бумаги и письма — кому-то закрыли дело, у кого-то был суд, кого-то выселяли из дома — Ненси направляла людей к разным столам и клеркам. Я же не могла понять, как она во всем разбиралась. Меня ужасали бесчисленные сокращения и аббревиатуры, которыми она пользовалась. Все было закодировано — как связаться с банком, как с судом, как с ленд-лордом или полицией. Вокруг стоял ужасный шум, скандалы, я думала, у меня треснет голова и я не дотяну до вечера.

На утро эта милая Ненси как ни в чем не бывало сказала: "Становись к окошку и принимай клиентов!" Что мне оставалось делать? Встала к окошку и начала принимать клиентов, точнее их бумаги. Читаю эти бумаги, а что в них написано, не понимаю, и не имею понятия, что говорить посетителям — куда и к кому их посылать. Сидящая рядом Нен-

си, словно вообще про меня забыла — да и не только она. Все были погружены в свои дела, как будто меня не существовало. Я еще раз взглянула на Ненси и вдруг меня осенило: "Ты знаешь, — сказала я, — у меня есть для тебя очень хороший подарок — русский сувенир!" — "Да? — оживилась она, — что же, интересно, ты хочешь мне подарить?"

А у меня еще из России был маленький металлический самоварчик, чудная такая безделушка — ее я и подарила.

Ненси пришла в такой неопишуемый восторг, что просто трудно передать, повернулась ко мне с таким сияющим лицом и говорит: "В любое время, когда тебе понадобится помощь, я с радостью тебе помогу!"

Ее помощью я пользовалась каких-нибудь недели две-три, не больше. Но они-то меня и спасли. После того, как окружающие увидели, что я могу работать сама, они приняли меня. Что значит приняли? Со мной общались, говорили, делились, шутили. Но еще прошло не мало времени, прежде чем я поняла в какую нетривиальную обстановку я попала и сколь непривычные люди меня окружают.

Впрочем, раньше чем с этими людьми, я начала знакомиться с клиентами нашего офиса. Высшая задача Центра состояла в том, чтобы всех до единого хорошо обслужить. Позже, из уст начальства, на разного рода совещаниях, я это слышала постоянно: "Выходя из вашего учреждения, клиент должен оставаться доволен". Но никогда не произносилось вслух, каким к нам приходил этот клиент — обиженным, обозленным, готовым чуть что закатить скандал.

Впрочем, приходили разные. Я не психолог и не берусь выявлять общие черты тех, что образует клиентуру вэлфера.

Еще из России я вынесла убеждение, что каждый человек — это особая судьба. Все верно. Жизнь сложнее и неоднозначнее, чем мы привыкли ее представлять. Иногда сложнее, а иногда проще и примитивнее. Единственно, чему она не поддается, — это стандартным и стереотипным оценкам. Так что, я просто пойду за фактами и событиями. И пусть читатель сам выступает судьей того, о чем я буду рассказывать.

Так вот, вспоминается такой случай. В то время я рабо-

тала еще в регистратуре, опыта не было, зато была постоянная боязнь совершить ошибку. И еще был обостренный здравый смысл, с мерками которого старалась подходить ко всему.

Как-то приходит молодая негритянка и рассказывает, что у нее родился ребенок. А в таких случаях, как меня учили, задается ряд вопросов: кто отец ребенка? сколько ему лет? где он живет? есть ли у него сошэл секьюрити? На вопросы об отце женщина отвечает: "Он давно со мной разошелся!" Спрашиваю: "Что значит давно?" "Пять лет назад!" Раскрываю глаза: "Пять лет назад? Как же у тебя в этом году родился ребенок?" "А он приехал, чтобы меня навестить". "Откуда же он приехал?" "Он приехал из Доминиканской республики..."

Причем это было сказано так громко, что я не выдержала и рассмеялась.

"А что вы смеетесь? — удивилась она. — Бывают праздники, когда мужья приезжают навестить своих жен и рождаются дети". Это была первая такая встреча.

А вот и другой случай. Мы получили сообщение, что одна из наших клиенток вышла замуж. Я решила ее пригласить в офис. По правилам, если она выходит замуж, отец должен отвечать за детей, поддерживать их. И необходимо было знать, работает ли он, сколько получает, где живет и т.д. И вот она приходит на интервью. "Ты знаешь, мы получили документы, что ты вышла замуж." — "Я вышла замуж?" — удивляется она, — что вы говорите! Я совсем и не вышла замуж!" — "Как это нет?, — возражаю я, — вот посмотри: это — "невеста", написано, а это — "мать невесты", а это — "жених", и как раз жених — это отец первого твоего ребенка" — "Ой, вы знаете, я совсем забыла!! Я-таки вышла замуж, но он через пять дней уехал от меня". "Но ты докажешь мне, что он уехал", — решила я следовать букве закона. "А как же я могу доказать?" — восклицает она. "Наверное, ты должна разыскать его и получить письмо, подтверждающее, что он уехал".

Чем же все кончилось? Она, действительно, принесла письмо, написанное якобы ее мужем, в котором он уведомлял

отдел социального обеспечения, что в точности через пять дней после свадьбы решил оставить свою жену. Я читала эту филькину грамоту и про себя думала: "Ну откуда я знаю, что это писал ее муж, а не первый встречный, и что все это правда, и подписал он, а опять же не первый встречный..." Позже я часто возвращалась к этим мыслям. Государство тратит на социальную помощь миллионы. Но ирония в том, что нет никаких доказательств, подтверждающих необходимость ее выплаты тем или иным лицам. Как я могла проверить это письмо? И кто мог проверить? Полиция? Суд? Кто мог этим заниматься?..

Вот еще один не менее занятный случай. Я позвонила домой одной из своих клиенток, про которую было известно, что она не работает и что у нее нет мужа. Мне необходимо было у нее кое-что проверить. Трубку взяла девочка, по видимому, дочка. Я говорю: "Позови, пожалуйста, маму к телефону." — "Мама работает!" — "А папу можно позвать?" — "Папу, пожалуйста!"

Подошел несуществующий отец и с олимпийским спокойствием сообщил, что его жена на работе. На следующий день по моей просьбе звонит мне эта женщина. "Оказывается, и муж в доме есть, и работа есть, — стараюсь я сохранить официальный тон, — а ведь мы только что провели пересмотр дела, и обо всем этом ни слова!" — "Да нет же, — говорит она. — Это не был мой муж, это был мой папа!" — "Ну, знаешь ли, — не выдерживаю я, — это уже слишком! Скажи лучше, где твой муж работает."

Чувствуя, что номер не проходит, она меняет тон: "Он нигде не работает". — "Считай, что я тебе верю, — продолжаю я. — Теперь, чтобы получить государственную помощь, тебе надо прийти с мужем. Путь он тоже подает на вэлфер, если он нигде не работает. А, кстати, где ты работаешь?" — "Я? Я нигде не работаю, я только один день работала". Я говорю: "Принесешь мне письмо от нанимателя о том, что ты нигде не работаешь..."

И что же? Через несколько дней на моем столе появилось такое письмо. Однако муж отказался получать вэлфер. А

это значило, что я должна была закрыть дело. Но не прошло и двух месяцев, как она пришла в регистратуру и подала новое заявление — ко мне ее больше не направили. Но, насколько я могу судить, в ее жизни ничего не изменилось — и семья ее по-прежнему получает от государства социальную помощь.

Чем дальше, тем больше я убеждалась, что здесь не только нельзя ничего доказать, но никто и не ждет никаких доказательств. Все это выглядит как своего рода игра, где стороны заранее договорились о ролях. Наш Центр, представляющий интересы государства, облечен полномочиями выдавать от его имени помощь и требовать представления соответствующих доказательств. Получающие вэлфер обязаны представлять эти доказательства. Но мы должны проявлять терпимость и верить всему, что нам представляется. В душе, конечно, любой из наших сотрудников может и не верить, но это уже его личное дело.

Как все это понять? Неужели правительство и государство сознательно идут на это лицемерие? Думаю, что дело обстоит гораздо тоньше, чем может показаться на первый взгляд. Все три примера, которые я привела относятся к молодым женщинам — о них в нашем учреждении известно, что их бросили мужья и что они сами растят детей. Но, по моим наблюдениям, не менее 50-60 процентов от их общего числа живут с постоянными мужчинами. Нередко они их считают и даже называют мужьями. Многие из них работают, иногда работают и сами женщины. И при этом, как мы видели, не упускают случая ввести в заблуждение государство. Ну и что с такими делать? Есть разные на этот счет точки зрения. Некоторые предлагают нещадно лишать их помощи. Есть работающий мужчина, значит ничего не полагается, неважно, кто он — сожитель, квартирант, муж — закон есть закон! Но, а если сожитель существует, а помощи от него никакой — как быть тогда? А, если он, действительно, то появляется, то исчезает? И что делать с детьми? Словом, мы вступаем здесь в мир с подвижными нравственными и житейскими границами. А поскольку дело касается сотен

тысяч и даже миллионов людей, то нет никакой возможности в каждом отдельном случае докопаться до истины. Ясно лишь, что речь идет о людях и очень часто о детях, живущих в демократическом государстве. Поэтому государство априори проявляет чрезмерную доверчивость, сознательно допуская, что кто-то этой доверчивостью злоупотребит и, может быть, таких будет не мало, но зато не лишится его помощи тот, кто в ней действительно нуждается.

Впрочем, одно дело отношение к клиентам, другое дело — их собственное мироощущение. Как чувствуют себя те, кто попадает на вэлфер? Опять же, все зависит от человека. Для некоторых это просто эпизод, временная жизненная неудача, которая может коснуться каждого. Для других — это новое качество жизни. Мне приходилось видеть, как длительное пребывание на вэлфере постепенно приводило к деградации личности. Человек оказывался в яме, и у него не хватало воли из нее выбраться.

За четыре года перед моими глазами прошло много людей, разных по возрасту, уровню культуры, социальному положению. Были среди них и эмигранты из Советского Союза. Причем, когда я только пришла, их насчитывалось семей 500-600, сейчас осталось не более 200. Многие на моих глазах довольно быстро вырвались.

Помню как пришла ко мне семья одного недавно приехавшего в Америку химика, человека чрезвычайно способного. В Союзе он занимался теоретическими разработками, был даже связан с границей, но когда приехал в США, то прослужив в одной из фирм месяца три, потерял работу и после этого уже не мог устроиться. Я видела, как и его, и жену тяготило это положение — все дни они проводили в поисках работы и, как только представилась первая возможность, ушли с вэлфера.

Вообще, люди технических специальностей у нас не задерживались. По-другому обстояло с гуманитариями: художниками, литераторами, актерами — Впрочем и они поначалу пытались что-то найти, но, убедившись, как это тяжело, некоторые из них сдались.

Есть среди моих клиентов одна женщина-москвичка. В прошлом она, кажется, была где-то оформителем или техре-дом, но отчаявшись найти работу, прочно осела на вэлфере. И всякий раз, как только приходит, начинает сокрушаться: Как ей стыдно! Как ей стыдно! Сидеть на шее у государства! Потом исчезает и снова появляется, и опять раскаивается: "Ах, если бы вы знали, как я себя неловко чувствую! Как неловко!" И все это тянется восьмой год. Недавно она заявила, что разработала какой-то патент не выходя из дома, кажется, в области парфюмерии. И теперь бредит, как заработав большие деньги, сможет уйти с вэлфера.

Однажды, к нам в офис явилась совсем еще молодая и небрежно одетая женщина-еврейка. И тотчас начала жаловаться, как ее кругом преследуют, как издеваются. И не только над ней, но и над детьми — их забирают, бьют, бросают в каталажку. Она возмущалась полицией, лендлордом, супером, соседями. Притом ее манеры и, как она говорила, свидетельствовали, что передо мной довольно интеллигентная женщина, которая просто не нашла себе места в этом мире. И всякий раз, когда она приходила, меня поражало несоответствие между ее языком интеллигентного человека и внешним обликом. Раз от разу она выглядела все более опустившейся, и я заинтересовалась ее судьбой. Что же выяснилось? Оказывается, у нее семеро детей, и все они родились в разных странах. Сама она успела побывать в Израиле, там родились первые двое. Еще двое появились в Италии, куда она уехала из Израиля. Затем в Германии, и вот теперь в Соединенных Штатах. К детям они с мужем относились ужасно, не кормили их, бросали где попало. Это и привело к тому, что возник вопрос о лишении их родительских прав. Она и не пыталась найти работу, и все мои попытки говорить о чем-то подобном лишь вызывали у нее отчуждение.

Кончилось тем, что она вообще исчезла. Боюсь, что сгинула где-то в чреве Нью-Йорка, превратившись в одну из тех бездомных бродяжек, которых нередко можно встретить на улицах города.

Конечно, очень важно, какая у человека закваска. В зави-

симости от этого, один держится, а другой, не выдержав тягот, быстро катится под откос. Однажды у меня в офисе появился внешне очень интересный мужчина на костылях. По его лицу было видно, что когда-то он был сильным и очень успешным человеком, возможно, баловнем женщин. Но теперь напоминал опустившегося актера. Такими мы обычно представляем обитателей ночлежек, людей, оказавшихся волей обстоятельств на дне жизни. Он рассказал, что в прошлом был офицером Северного флота, еврей, но еврей бывалый, такой русской закваски. В Москве оставил жену с двумя детьми, а сам с сестрой и ее мужем решил уехать в Америку. В Риме они с сестрой поссорились, разошлись. Та с семьей отправилась в Австралию, а он приехал в Нью-Йорк. Работы не было, и пришлось наняться в док.

Еще в Риме связался с какой-то подозрительной компанией, и в Нью-Йорке, по-видимому, эти его сомнительные связи не прерывались. Трудно сказать, что послужило причиной дальнейшему, но однажды его страшно, до потери сознания, избили. В драке сломали ногу, так что из больницы он вышел на костылях. Когда попал в больницу, соседи, с которыми он жил, его до ниточки обобрали. И вот, этот в прошлом бравый офицер явился в наш Центр глубоко несчастным, опустившимся инвалидом.

Не о каких поисках работы не могло быть и речи. Он сказал, что все последние ночи он провел в одной из нью-йоркских ночлежек. Был он так несчастен, что я не выдержала и дала ему два доллара, чтобы он мог добраться до дому, если, конечно, его ночлежку можно было назвать домом.

Всякий раз, когда он приходил в наш Центр, он устраивал жуткие скандалы, размахивал над головой костылем, угрожал, — этот человек на моих глазах сходил с ума и похоже, уже ничего нельзя было сделать.

А вот другой случай. Опять же ко мне пришел мужчина, и опять же, незадолго до этого, избитый, но, на этот раз эмигрантами из Канарси, где он жил. Но у этого судьба сложилась совсем по-иному, потому что, наверное, он сам был другим человеком.

В США он приехал из Орла, где руководил Орловским народным хором. Вместе с ним приехала его молодая жена, солистка того же хора, и двое детей. Вскоре, как это бывает, начались невзгоды, и жена бросила его. Решила пробиваться сама, взяла детей и поступила на текстильную фабрику. А он остался один, и, не в силах найти работу, оказался на вэлфере. Это был внутренне интеллигентный человек, который глубоко переживал случившееся. Рассказывая о жене, он не обвинял ее, а даже по-своему оправдывал. Да, она молодая, может еще устроить жизнь, и он не станет ей мешать. Сейчас он перешел на Эс-Эс-Ай* получает пенсию и продолжает заботиться о детях.

Конечно, клиенты у нас разные, но все же некоторые типологические группы можно выделить. Большинство составляют молодые одинокие женщины с детьми, в основном, пуэрториканки. О некоторых из них я уже рассказывала.

Мужчины, живущие с ними и обычно ими скрываемые, — это опять же чаще всего пуэрториканцы, иногда выходцы с Кубы или Доминиканской республики. Многие занимаются контрабандой, наркотиками, не брезгуют ничем и нередко скрываются от полиции.

Живут эти люди в нищете — сказывается отсутствие постоянной работы и постоянных доходов. Нам не полагается бывать у них в домах, но иногда, случайно, я прохожу мимо — поражает убогость и бедность их жизни. Но несмотря на все, из окон несется грохот радио и магнитофонов, иногда крики, иногда рыдания, а иногда, наоборот, хохот, тогда вспоминаешь, что все они все-таки испанцы, так что сказывается темперамент.

Следующая группа — это люди пятидесяти и выше лет, многодетные, которые обычно уже не могут найти работу. Вэлфер — для них нечто само собой разумеющееся. Многие уже, так сказать, потомственные вэлферщики. На пособия находились их деды, затем отцы, и вот теперь — они сами. Следует заметить, что преобладающий процент наших клиентов —

* Сошэл секьюрити инком.

это вчерашние эмигранты или дети эмигрантов, чаще выходцы из стран Южной Америки.

Коренных белых американцев на пособия мало. Я думаю, что вэлфер сам по себе служит побудительным мотивом для эмиграции в Америку из бедных стран. Для людей в этих странах не хватает работы, а многие просто обречены на голод. Вот и начинают пробираться в Америку, где государство никому не дает умереть от нищеты. Конечно, помощь очень мала: для одинокого всего 301 доллар и на 70 долларов фуд-стэмпов в месяц, но для выходцев из нищих стран и этого достаточно, чтобы не умереть с голоду.

Есть у нас клиенты, которые не подпадают ни под одну из категорий — так сказать, нью-йоркские оригиналы со своими, нетривиальными ситуациями и судьбами. Об одной судьбе я хотела бы рассказать особо, как о типичной, что ли, гримасе нью-йоркской жизни.

Однажды утром ко мне заявляется высокая пикантная девица с ярко разукрашенным лицом, в высоких сапогах и ярком жакете. Красивые черные глаза, подведенные ресницы. Я еще не успела ни о чем спросить, как посетительница сообщила: "Только имейте в виду, что я не женщина, я мужчина!" Первое, что пришло в голову: наверное, какая-то ненормальная. Но потом в документах прочла: "Энрико Барателли!" И я поняла, что это действительно мужчина. Затем последовал долгий рассказ, почему он решил стать женщиной. Его столько раз обижали за то, что он был мужчиной, что он пришел к выводу: ему выгоднее стать женщиной. Единственно, о чем сожалел, что не может быть женщиной каждый день, а только раз в неделю, когда имеет возможность хорошо побриться. Для того же, чтобы электролизом снять волосы с лица, нужно много денег, а у него их нет. Тогда я ему говорю: "Послушай, ты здоровый, молодой парень, и к тому же очень грамотно и красиво пишешь (а в этом я действительно успела убедиться) — пойдись работать! Ты же можешь днем работать как мужчина, а вечером будь кем угодно. Какое кому дело, чем ты занимаешься вечером!" Но стоило мне заговорить о работе, как он ужасно испугал-

ся: "Работать? Нет-нет! Работать я не могу, вы позвоните моему врачу, он вам скажет, что я не могу работать!" Я позвонила врачу, и он мне рассказал, что этот Энрико — совершенно нормальный и здоровый мужчина, никаких физических недугов у него нет. Есть лишь одно умственное отклонение от нормы — он хочет быть женщиной. Далее выяснилось, что он происходит из интеллигентной и даже аристократической семьи. Но родители, по его словам, им не интересуются! И теперь он живет в квартире с каким-то мужчиной, платит за угол какие-то деньги...

Следующий раз он пришел уже в облике юноши, кстати, очень симпатичного, и первое, что сказал: "Сегодня я не мог прийти как в прошлый раз, потому что сегодня не день бритья". Ему 27 лет. На вэлфере он уже года три-четыре. И менять этот статус не собирается.

Кстати, он не единственный у нас из гомосексуалистов. Недавно одна наша сотрудница, покатываясь со смеху, рассказывала, как к ней пришел уже солидный мужчина и начал со страстью ее убеждать, что он женщина. "Понимаешь, — говорила мне эта сотрудница. — Приходит такой мистер, одет как мужчина и вдруг начинает мне доказывать, что он женщина, а не мужчина!"

Но наш персонал знает свое дело туго. "И что ты думаешь я ему ответила? Я ему сказала, чтобы он мне не морочил голову. Меня, вообще, не интересует кто он — мужчина или женщина, работать бы лучше шел!"

Выше я уже говорила, что наш офис — это в какой-то степени слепок черного населения Америки. Похоже, что это было сделано намеренно. Отцы-создатели вэлфера исходили из того, что при таком сходстве сотрудникам легче будет договариваться с теми, кто получает социальную помощь. Однако все происходит наоборот.

Ведь не случайно внутри нашего учреждения с утра до вечера дежурит патруль внутренней полиции. Отношения между посетителями и сотрудниками часто настолько накалены, что присутствие полиции просто необходимо. Но откуда эта стрессовая ситуация? Ответ мне кажется, надо ис-

кать в настроении обеих сторон. Я уже говорила о том, что суммы социальной помощи, приобретающей в масштабах государства гигантские размеры, сами по себе очень малы. Они рассчитаны, максимум, на то, что получающий их сможет как-то просуществовать, но не более. Часто этих денег не хватает даже на питание. И это вызывает у людей раздражение, которое они изливают на сотрудников Центра. Последние им кажутся устроенными, зажавшимися, в чем-то предавшими их — своих братьев по цвету кожи.

Поэтому, чуть что, они закатывают скандалы, иногда устраивают драки, и внутреннему патрулю приходится их разнимать, а иногда вызывать по телефону полицию.

А что же наш коллектив? Оказывается, у сотрудников Центра есть свои причины для неприязни к посетителям. Отцы-создатели вэлфера рассчитывали, что они будут проявлять сочувствие и понимание, но этого не происходит. Дело в том, что сидящие в Центре по эту сторону барьера имеют свои причины для недовольства. Прежде всего, своими заработками. Они считают — и возможно справедливо! — что им слишком мало платят за такую тяжелую, неблагодарную работу. Но на ком им выместить недовольство — отчасти возможно на начальстве, среди которого немало евреев. Но, прежде всего, конечно, на клиентах. Почему это они должны целыми днями работать, как каторжные, ломать себе голову с компьютерами и цифрами, а эти приходят и получают все бесплатно, на блюде, да еще обманывают.

"Почему я работаю, а она не может? Где справедливость? Пусть идет и работает как я. Нечего с ними нянчиться!"

Эти разговоры я слышу с утра до вечера, и они, определенно, не способствуют созданию идиллической обстановки. Причем ни одна из сторон даже не пытается сдерживать свой гнев и страсти.

Однажды я была свидетелем, как завязалась драка в разгар рабочего дня. Клиентка, не удовлетворенная полученным ответом, ударила с размаху сотрудницу сумкой, та дала ей сдачи. Вмешался еще один, и еще. Вскоре началась жуткая свалка, в которую включилось столько людей, что прибыв-

ший наряд полиции с трудом их разнял. И такие сцены повторяются не так уж редко.

Но не нужно думать, что слишком высока разделяющая их баррикада. В сущности, и те и другие находятся почти на тех же социальных этажах. Но одних удалось вовлечь в социально-полезный труд, другие — остаются на иждивении общества. Что барьер не высок, свидетельствует хотя бы тот факт, что нередко вчерашние клиенты вэлфера становятся сотрудниками социальных учреждений.

Чаще всего это люди со сравнительно небольшим достатком (наши работники получают 250—300 долларов в неделю), имеющие большие семьи, живущие в государственных домах с более низкой арендной платой, иногда довольно нуждающиеся и с трудом дотягивающие от зарплаты до зарплаты. Словом, это самые обыкновенные, простые люди. На ланч они обычно покупают джанк-фуд: чипс, гамбургеры, пепси-колу. Они почти не едят фруктов, овощей или каких-то изысканных блюд.

Работа им дается нелегко — особенно, когда они имеют дело с компьютерами. Ведь они привыкли большинство операций делать автоматически. И даже тех, кто окончил колледж, прежде всего отличает этот автоматизм в работе. Причем это относится не только к сотрудникам вэлфера, а вообще к американским служащим. На все есть книги, есть инструкции. Ситуации, когда работник самостоятельно должен принять решение, сведены к минимуму. Поэтому у нас, с чем бы ни обратился человек, сразу же раскрывается "гросс-бух" и ищется ответ. Но, понятно, что никакие даже тщательнейшие разработанные инструкции не могут предусмотреть всех случаев жизни. Жизнь богаче. И она постоянно преподносит сюрпризы, с которыми наши работники просто не в состоянии справиться.

Думаю, что подобные ситуации возникают везде, где приходится иметь дело с живыми людьми. И вот здесь-то у тех, кто не получает ответа у компьютера или в справочнике, возника-

ет раздражение против посетителя, поставившего их своей проблемой в дискомфортную ситуацию. И как же они поступают? А никак! Если нет ответа в инструкции или на экране компьютера, то не принимается решения вообще, и человек уходит ни с чем. Иногда не уходит, а требует и устраивает скандал. И даже трудно сказать, кто виноват — чиновник ли, не сумевший самостоятельно разобраться в ситуации, или система, готовящая людей-роботов.

Неспособность самостоятельно сделать и шага вызывает лень мышления, и на любой вопрос человека готов ответ: Нет! Тем более, когда речь идет о клиентах вэлфера. Для них это "нет" как бы само собой разумеющееся. "Пусть работать идет, а не шляется и не мучает людей!" — вот что всегда висит у нас в воздухе. Однажды позвонила одна моя клиентка и сказала, что она только что вернулась из больницы и у нее нет сил прийти за чеком. Она просила разрешения прислать к нам приятельницу. Сообщила, что пришлет через нее свою вэлферовскую карточку. Так вот, не можем ли мы выдать этой прительнице какое-то письмо, чтобы она смогла получить чек. В моей практике это был первый случай. Я обратилась к начальнице, как быть, можно ли таким образом выдать чек? В ответ начальница раздраженно пожала плечами: "Какой чек? Не давай ей никакого чека. Пускай приходит, когда сможет!"

Я беру трубку и пытаюсь все это объяснить клиентке. Но та не хочет и слушать: "Ждать? Как я могу ждать? У меня нечего есть, у меня двое детей!" Ее упорство еще более выводит из себя моих сослуживиц. Одна из них говорит: "Дай-ка мне трубку, я с ней потолкую! Ты их все жалеешь, нечего их жалеть, пускай работать идет!"

И все, кто был в комнате, ее поддержали: "Чего это ей давать деньги? Ничего не случится, получит через две недели!"

Тогда я решила открыть справочник и проверить, есть ли на этот счет какое-нибудь правило. Оказывается, есть! Именно на тот случай, когда человек заболевает. Я показала его начальнице, но та даже не взглянула на него: "Вечно ты их жалеешь, пусть работать идет! Я работаю, а она не может?"

И так всегда: любое отступление от инструкции вызывает у нас в коллективе раздражение. Когда сверху вводится что-то новое, обычно слышишь "А чего это мы должны делать? Нам за это не платят!" В Центре есть довольно сильный профсоюз, которые старается не давать сотрудников в обиду и в каждом случае встает на их защиту.

Вообще состав социальных учреждений Нью-Йорка за последнее десятилетие сильно изменился. Об этом недавно говорил мэр Коч, выступая на завтраке, который был устроен специально для государственных служащих-евреев.

Известно, что во времена Кеннеди количество черного населения в Нью-Йорке значительно возросло. Чтобы вовлечь его в полезную деятельность, многих стали приглашать на работу в вэлфер. С другой стороны, большое число евреев оставило эту работу.

"Теперь, — говорил мэр Коч, — у нас есть много свободных мест, которые очень важно заполнить опытными, знающими людьми". Он не говорил о евреях, но, судя по всему, имел в виду именно их.

Как я уже писала, в нашем Центре работает какое-то число евреев. В основном это начальники отделов, супервайзеры, и, надо сказать, что особой симпатией у черных сотрудников они не пользуются. Но ко мне наши черные относятся хорошо. И на какие бы темы ни говорили, обычно не стесняются моего присутствия. Из их разговоров не трудно почувствовать, что в большинстве своем они чувствуют себя уязвленными, людьми второго сорта, хотя я ни разу не видела, чтобы кто-то им дал это почувствовать — и на работе, и вообще, в окружающей жизни. Тем не менее, этот комплекс обиды, передаваемый из поколения в поколение, постоянно дает о себе знать.

Надо было видеть, какое негодование в нашем офисе вспыхнуло против Геца* когда возникло его дело и о нем заговорила печать. Оказывается, этот "белый бандит" стрелял в детей. И, если б он был черный, его бы давно посадили!

*Как известно, на Геца было совершено нападение в метро несколькими черными. Защищаясь, он одного тяжело ранил. Дело это приняло широкую огласку и получило противоположные оценки в различных слоях общества.

"Черные" и "белые" то и дело фигурируют в их разговорах, и лейтмотив один — им, "белым", все сходит с рук, им все можно!

Сейчас в нашем офисе идет война между неграми и пуэрториканцами. Первые страшно недовольны, что пуэрториканцы говорят на испанском языке и, следовательно, неизвестно о чем. Может быть, плетут что-нибудь против них, черных. "Они" живут в Америке и поэтому обязаны говорить по-английски, — можно постоянно слышать из уст негритянской части нашего коллектива. На все у наших сотрудников своя точка зрения — Советский Союз они не любят, потому что там живут одни безбожники. Коча — за то, что он еврей. Израиль — за то, что из-за него у Америки столько бед. Они часто говорят, что Америка — это их страна, и управлять ею должны такие люди, как Джесси Джексон, а не Рейган.

Меня они считают своей и часто со мной устраивают споры. Чаще всего мы спорим с моей сотрудницей по отделу — Кети Браун — она у нас председатель профсоюза, умная, свое мнение считает непререкаемым. Так вот она заявляет, что белые хотят ни больше, ни меньше, чтобы черные снова стали рабами. Но у них ничего не выйдет.

Однажды она на меня набросилась — что я имею против Фарахана?

"Но ведь Фарахан жуткий антисемит, просто второй Гитлер, — возражаю я. — Он не католик, не протестант, он — мусульманин. Почему черные считают его своим?" Но у Кети своя логика: раз Фарахан за черных, значит, он — хороший!

Когда я только пришла в Центр возник спор из-за отпуска, — кому его дать раньше: мне или одной молоденькой сотруднице, поступившей еще позже меня. Так вот, эта сотрудница вдруг заявила: "Да сколько она вообще прожила в Америке?" Я возразила: "Причем тут 'прожила в Америке?' Мы ведь ведем речь о работе." Тогда она говорит: "А долго ли ты будешь у нас работать? Все евреи, которые приходят к нам, немножко поработают, а потом оказываются в даунтауне!"

В неприязни к евреям, у них, примерно, такая логика: "В принципе, евреи, как и черные, такая же обиженная раса,

Но, в отличие от черных, они всегда находят выход из положения. Они умеют устраиваться. У них есть деньги. И они никогда не опускаются до такого уровня, чтобы оказаться наравне с черными".

С другой стороны, наши черные — чаще всего добродушны. Они много шутят, хохочут, любят веселиться, быстро вспыхивают, но и быстро остывают. Многие свои поступки они совершают спонтанно, не размышляя над их смыслом. Я даже думаю, что неприязнь к евреям у них, скорее, стихийна, и по своему, наивна. И все это часто выглядит довольно потешно.

Некоторое время назад наши евреи стали собирать пожертвования по поручению одной филантропической еврейской организации. Но так как не очень надеялись получить деньги прямо, то решили устроить специальный ланч, а деньги от проданных билетов пустить на пожертвования.

За организацию ланча взялась наша еврейка-супервайзерша Сара. Она подходила к каждому столу и объясняла, что деньги собирает известная интернациональная организация, она помогает бедным, и пожертвовать для них — дело благородное. Затем каждого просила подготовить к ланчу какую-то еду. Чтобы расшевелить побольше людей, решили устроить лотерею.

Билет на ланч стоил всего 3 доллара, но все равно, никто не хотел платить. У меня было 250 билетов. Из них за три дня я продала всего несколько. Наши черные явно решили это дело бойкотировать. Правда, они не могли сказать, что они против пожертвования. В Америке это не принято. Но зато со всех сторон сыпались заявления, что они не хотят еврейских кушаний. Тогда устроители ланча предложили каждому приготовить что-нибудь свое: "Ты готовь испанские блюда. Ты — пуэрториканские, ты — кубинские. Каждый готовит то, что хочет". И все равно до последнего дня билеты не раскупались.

Только в день ланча, в двенадцать часов, когда все почувствовали, что в столовой накрыт стол и оттуда вкусно пахло, коллектив вдруг бросился раскупать билеты. Все забыли, что это чисто еврейское мероприятие и стали с аппетитом уни-

чтожать все, что было на столах. Каждый набирал по три-четыре тарелки, наперебой расхваливая ту самую еврейскую кухню, из-за которой еще накануне никто не хотел идти. В результате, еды не хватило и на половину. Сара поехала срочно в ресторан ее докупать, а "ланчующие" в этот час чем-то напоминали детей, набросившихся на лакомства. И, конечно, никто ни разу не вспомнил — евреи, неевреи, — все радовались празднеству и неожиданной возможности вкусно покушать.

Вот так и идет жизнь нашего офиса — одного из 59 в Нью-Йорке. В общей сложности, в системе вэлфера работает примерно 25 тысяч человек. А всего на социальной помощи в городе — около двух миллионов.

Можно представить, какой тяжести работа ложится на социальные центры. В меру своих сил я пыталась рассказать о жизни одного из них. Жизнь в общем обычная, со своими трудностями и сюрпризами, с маленькими и большими радостями, с людьми хорошими и не очень хорошими, с белыми и цветными — все они, как мы видели, несут не легкое бремя. Слышат каждый день в свой адрес тысячи проклятий и почти никогда — благодарности.

Америка — богатейшая страна. В ней есть много прекрасных, интересных и благородных работ. Но кому-то надо выполнять и эту, проистекающую из того, что в этом богатом обществе существуют нижние социальные этажи.

Вэлфер — не идеальная система. Уже то, что одна часть общества должна кормить другую, находящуюся у нее на иждивении, не может вызвать восхищения. Тем более, если эта система плодит безделье, лень, иногда лицемерие и даже презрение к труду. Все это так. Но никто еще не придумал идеальной системы помощи. Перед любым государством стоит жестокая альтернатива — помогать или не помогать. Америка уже давно сделала свой выбор, и своими замечками я лишь хотела еще раз показать, что за этим выбором стоит и насколько этот выбор нелегок.



Лев ТРОЦКИЙ

ПОЧЕМУ ОНИ КАЯЛИСЬ

ЗИНОВЬЕВ И КАМЕНЕВ

31 декабря. Кончается год, который войдет в историю, как год Каина...

В связи с предупреждениями Зиновьева и Каменева относительно сокровенных планов и расчетов Сталина, можно поставить вопрос, не возникли ли подобные же намерения у Зиновьева и Каменева в отношении Сталина, когда все другие пути борьбы оказались для них отрезаны. Оба они за последний период своей жизни совершили немало поворотов и растеряли немало принципов. Почему же не допустить в таком случае, что, отчавшись в последствиях собственных капитуляций, они в известный момент действительно метнулись в сторону террора? Затем в порядке последней капитуляции они согласились пойти навстречу ГПУ и припутать меня к своим злосчастным замыслам, чтоб оказать услугу себе и режиму, с которым они снова пытались помириться. Такая гипотеза приходила в голову некоторым из моих друзей. Я взвешивал ее со всех сторон, без малейшей предвзятости или лич-

ной заинтересованности. И каждый раз я приходил к выводу об ее полной несостоятельности.

Зиновьев и Каменев — глубоко различные натуры. Зиновьев — агитатор. Каменев — пропагандист. Зиновьев руководился, главным образом, тонким политическим чутьем. Каменев размышлял, анализировал. Зиновьев всегда склонен был зарываться. Каменев, наоборот, грешил избытком осторожности. Зиновьев был целиком в политике, без других интересов и вкусов. В Каменеве сидел сибарит и эстет. Зиновьев был мстителен. Каменеву свойственно было добродушие. Я не знаю, каковы были их взаимные отношения в эмиграции. В 1917 году их связала временно оппозиция к Октябрьскому перевороту. В первые годы после победы Каменев относился к Зиновьеву скорее иронически. В дальнейшем их сблизила оппозиция ко мне, затем — к Сталину. Последние тринадцать лет своей жизни они прошли рядом и имена их всегда назывались вместе. При всех их индивидуальных различиях, у них, помимо общей школы, которую они проделали в эмиграции, под непосредственным руководством Ленина, был примерно одинаковый диапазон мысли и воли. Каменевский анализ дополнял зиновьевское чутье; совместно они нащупывали общее решение. Более осторожный Каменев позволял иногда Зиновьеву увлечь себя дальше, чем хотел бы, но, в конце концов, они оказывались рядом на одной и той же линии отступления. Они были близки друг другу по размерам личности и дополняли друг друга своими различиями. Оба были глубоко и до конца преданы делу социализма. Таково объяснение их трагического союза.

Брать на себя какую бы то ни было политическую или моральную ответственность за Зиновьева и Каменева у меня нет основания. За вычетом короткого перерыва (1926-27 г.г.), они всегда были моими ожесточенными противниками. Лично я не питал к ним большого доверия. Интеллектуально каждый из них стоял, правда, выше Сталина. Но им не хватало характера. Именно эту их черту имеет в виду Ленин, когда пишет в "Завещании", что Зиновьев и Каменев

нев "не случайно" оказались осенью 1917 года противниками восстания: они не выдержали напора буржуазного общественного мнения.

Когда в Советском Союзе определились глубокие социальные сдвиги, связанные с формированием привилегированной бюрократии, Зиновьев и Каменев "не случайно" дали увлечь себя в лагерь Термидора (1922-1926). Теоретическим пониманием совершающихся процессов они далеко превосходили своих тогдашних союзников, в том числе и Сталина. Этим объясняется их попытка оторваться от бюрократии и противопоставить себя ей.

В июле 1926 года Зиновьев заявил на пленуме ЦК: "В вопросе об аппаратно-бюрократическом зажиме Троцкий оказался прав против нас". Свою ошибку в борьбе со мною Зиновьев признал тогда даже "более опасной", чем свою ошибку 1917 года! Однако, давление привилегированного слоя приняло непреодолимые размеры. Зиновьев и Каменев "не случайно" капитулировали перед Сталиным в конце 1927 года и увлекли за собою более молодых, менее авторитетных. Они приложили затем немало сил к очернению оппозиции. Но в 1931-32 г.г., когда весь организм страны потрясился ужасающими последствиями насильственной и необузданной коллективизации, Зиновьев и Каменев, как и многие другие капитулянты, тревожно подняли головы и стали шушукаться между собою об опасностях новой правительственной политики. Их поймали на чтении критического документа, исходившего из рядов правой оппозиции, исключили за это страшное преступление из партии — ни в чем другом их не обвиняли ! — и в довершение сослали.

В 1933 году Зиновьев и Каменев не только снова покалялись, но и окончательно простерлись ниц перед Сталиным. Не было такого поношения, которого они не бросили бы по адресу оппозиции и, особенно, — по моему личному адресу. Их саморазоружение сделало их окончательно беззащитными перед лицом бюрократии, которая могла отныне требовать от них любых признаний. Дальнейшая их судьба явилась последствием этих прогрессивных капитуляций и самоунижений.

Да, им не хватило характера. Однако, эти слова не нужно понимать слишком упрощенно. Сопротивление материала измеряется действующими на него силами разрушения. От мирных мелких буржуа мне пришлось слышать в дни между началом процесса и моим интернированием: "Невозможно понять Зиновьева... Какая бесхарактерность!". "Разве вы измерили на себе — отвечал я — давление, которому он подвергался в течение ряда лет?".

Крайне неумны столь распространенные в интеллигентской среде сравнения с поведением на суде Дантона, Робеспьера и др. Там революционные трибуны попадали под нож правосудия непосредственно с арены борьбы, в расцвете сил, с почти незатронутыми нервами и в то же время без малейшей надежды на спасение. Еще более неуместны сравнения с поведением Димитрова на лейпцигском суде.

Разумеется, рядом с Торглером Димитров выгодно выделялся решительностью и мужеством. Но революционеры разных стран, и в частности — царской России, проявляли не меньше стойкости в неизмеримо более трудных условиях. Димитров стоял лицом к лицу с злейшим классовым врагом. Никаких улик против него не было и быть не могло. Государственный аппарат наци еще только складывался и не был способен к тоталитарным подлогам. Димитрова поддерживал гигантский аппарат советского государства и Коминтерна. К нему шли со всех сторон симпатии народных масс. Друзья присутствовали на суде. Достаточно было среднего человеческого мужества, чтоб оказаться "героем".

Разве таково было положение Зиновьева и Каменева перед лицом ГПУ и суда? Десять лет их окружали тучи оплаченной тяжелым золотом клеветы. Десять лет они качались между жизнью и смертью, сперва в политическом смысле, затем в моральном, наконец в физическом. Много ли можно найти на протяжении всей истории примеров такого систематического, изощренного, дьявольского разрушения позвоночников, нервов, всех фибр души? Характеров Зиновьева или Каменева с избытком хватило бы для мирного периода. Но эпоха грандиозных социальных и политических

потрясений требовала от этих людей, которым их дарования обеспечили руководящее место в революции, совершенно исключительной стойкости. Диспропорция между их дарованиями и волей привела к трагическим результатам.

Историю моих отношений к Зиновьеву и Каменеву можно проследить без труда по документам, статьям и книгам. Один Бюллетень оппозиции (1929-1937 г.г.) достаточно определяет ту пропасть, которая окончательно разделила нас со времени их капитуляции. Между нами не было никакой связи, никаких сношений, никакой переписки, никаких даже попыток в этом направлении, — не было и быть не могло.

В письмах и статьях я неизменно рекомендовал оппозиционерам в интересах политического и морального самосохранения беспощадно рвать с капитулянтами. То, что я могу сказать, следовательно, о взглядах и планах Зиновьева-Каменева за последние восемь лет их жизни, ни в коем случае не является свидетельским показанием. Но в моих руках достаточное количество документов и фактов, доступных проверке; я слишком хорошо знаю участников, их характеры, их отношения, всю обстановку, чтоб сказать с абсолютной уверенностью: обвинение Зиновьева и Каменева в терроре — гнусный полицейский подлог, с начала до конца, без малейших крупниц истины.

Уже одно чтение судебного отчета ставит каждого мыслящего человека перед загадкой: кто, собственно, такие эти необыкновенные обвиняемые? Старые и опытные политики, которые борются во имя определенной программы и способны согласовать средства с целью, или же жертвы инквизиции, поведение которых определяется не их собственными разумом и волей, а интересами инквизиторов? Имеем ли мы дело с нормальными людьми, психология которых представляет внутреннее единство, выражающееся в словах и в действиях, или же с клиническими субъектами, которые выбирают наименее разумные пути и мотивируют свой выбор наиболее несообразными доводами? Эти вопросы относятся прежде всего к Зиновьеву и Каменеву. Какими именно

мотивами — а мотивы должны были иметь исключительную силу — руководствовались они в своем предполагаемом терроре? На первом процессе, в январе 1935 года, Зиновьев и Каменев, отрицая свое участие в убийстве Кирова, признали, в виде компенсации, свою "моральную ответственность" за террористические тенденции, причем в качестве побудительного мотива своей оппозиционной работы сослались на свое стремление... "восстановить капитализм". Если б не было ничего, кроме этого противоестественного политического "признания", ложь сталинской юстиции была бы достаточно обнажена. Кто может, в самом деле, поверить, будто Каменев и Зиновьев столь фантастически устремились к низвергнутому ими капитализму, что оказались готовы жертвовать для этой цели своими и чужими головами? Исповедь обвиняемых в январе 1936 года настолько грубо обнаруживала заказ Сталина, что покорила даже наименее требовательных "друзей".

В процессе 16-и (август 1936 года) "реставрация капитализма" совершенно отбрасывается. Побудительной причиной террора является голая "жажда власти". Обвинение отказывается от одной версии в пользу другой, как если бы дело шло о разных решениях шахматной задачи, причем смена решений совершается молча, без комментариев. Вслед за прокурором обвиняемые повторяют теперь, что у них не осталось никакой программы, зато возникло непреодолимое стремление захватить командные высоты государства какой угодно ценою. Спрашивается, однако: каким образом убийство "вождей" могло доставить власть людям, которые в ряде покаяний успели подорвать к себе доверие, унижить себя, втоптать себя в грязь и тем раз навсегда лишиться себя возможности играть в будущем руководящую политическую роль?

Если невероятна цель Зиновьева и Каменева, то еще более бессмысленны их средства. В наиболее продуманных показаниях Каменева особенно настойчиво подчеркивается, что оппозиция окончательно оторвалась от масс, растеряла принципы, лишилась, тем самым, надежды на завоевание влияния

в будущем и что именно поэтому она пришла к мысли о терроре. Нетрудно понять, насколько подобная самохарактеристика полезна Сталину: его заказ совершенно очевиден. Но если показания Каменева пригодны для унижения оппозиции, то они совершенно непригодны для обоснования террора. Именно в условиях политической изоляции террористическая борьба означает для революционной фракции быстрое сжигание самой себя на костре.

Мы, русские, слишком хорошо знаем это из примера Народной Воли (1879-1883), как и из примера социалистов-революционеров в период реакции (1907-1909). Зиновьев и Каменев не только выросли на этих уроках, но и многократно комментировали их сами в партийной печати. Могли ли они, старые большевики, забыть и отвергнуть азбучные истины русского революционного движения только потому, что им очень захотелось власти? Поверить этому нет никакой возможности.

Допустим, однако, на минуту, что в головах Зиновьева и Каменева действительно возникла надежда достигнуть власти путем открытого самооплевания, дополненного анонимным террором (такое допущение равносильно, по существу, признанию Зиновьева и Каменева психопатами)! Каковы же были, в таком случае, двигательные пружины террористов-исполнителей, — не вождей, прятавшихся за кулисами, а рядовых бойцов, тех, которые неминуемо должны были за чужую голову заплатить своей собственной? Без идеала и глубокой веры в свое знамя мыслим наемный убийца, которому заранее обеспечена безнаказанность, но немислим приносящий себя в жертву террорист. На процессе 16-и убийство Кирова изображалось, как маленькая часть плана, рассчитанного на истребление всей правящей верхушки. Дело шло о с и с т е м а т и ч е с к о м терроре грандиозного масштаба. Для непосредственного выполнения покушений нужны были бы многие десятки, если бы не сотни фантастических, самоотверженных, закаленных бойцов. Они не падают с неба. Их нужно отобрать, воспитать, организовать. Их нужно насквозь пропитать убеждением, что вне

террора нет спасенья. Кроме активных террористов нужны резервы. Рассчитывать на них можно лишь в том случае, если широкие круги молодого поколения проникнуты террористическими симпатиями. Создать такие настроения могла бы лишь проповедь террора, которая должна была иметь тем более страстный и напряженный характер, что вся традиция русского марксизма направлялась против терроризма. Эту традицию необходимо было сломить. Ей надо было противопоставить новую доктрину.

Если сами Зиновьев и Каменев не могли безмолвно отказаться от всего своего антитеррористического прошлого, то еще менее могли они направить на Голгофу своих сторонников — без критики, без полемики, без конфликтов, без расколов и без... доносов. Столь радикальное идейное перевооружение, захватывающее сотни и тысячи революционеров, не могло, в свою очередь, не оставить многочисленных вещественных следов (документы, письма и пр.) Где все это? Где пропаганда? Где литература террора? Где отголоски прений и внутренней борьбы? В материалах процесса на все это нет и намека.

Для Вышинского, как и для Сталина, подсудимые вообще не существуют, как человеческие личности. Тем самым исчезают и вопросы их политической психологии. На попытку одного из обвиняемых сослаться на свои "чувства", помешавшие ему будто бы стрелять в Сталина, Вышинский отвечает ссылкой на мнимые физические препятствия: "это... причина очевидная, объективная, а все остальное — это психология". "Психология"! Какое уничтожающее презрение! Обвиняемые не имеют психологии, т.е. не смеют иметь ее. Их признания не вытекают из нормальных человеческих мотивов. Психология правящей клики, через посредство инквизиционной механики, безраздельно подчиняет себе психологию обвиняемых. Процесс построен по образцу трагического кукольного театра. Подсудимых дергают за нитки, или за веревки, надетые на шею. Для "психологии" места нет. Однако же без террористической психологии немислима и террористическая деятельность.

Примем, однако, абсурдную версию обвинения целиком. Гонимые "жаждой власти" вожди-капитулянты становятся террористами. Сотни людей настолько захватываются, в свою очередь, "жаждой власти" Зиновьева-Каменева, что покорно несут свои головы на плаху. Все это... в союзе с Гитлером! Преступная работа, правда, невидимая невооруженным глазом, принимает неслыханные масштабы: организация покушений на всех "вождей", универсальный саботаж и шпионаж. И это — не день, не месяц, а почти пять лет! И все это под маской преданности партии! Немыслимо представить себе более свирепых, холодных, закаленных преступников. И что же? В конце июля 1936 года эти монстры внезапно отрекаются от своего прошлого и от себя самих и жалко каются один за другим. Ни один из них не завещает своих идей, целей и методов борьбы. Все наперебой стремятся очернить себя и других. Никаких данных, кроме признаний обвиняемых, у прокурора нет! Вчерашние террористы, саботажники и фашисты простираются ниц перед Сталиным и клянутся в горячей любви к нему. Кто же они, в конце концов, эти фантастические обвиняемые: преступники? психопаты? то и другое вместе? Нет, они клиенты Вышинского-Ягоды. Так выглядят люди, прошедшие через длительную обработку ГПУ. В рассказах Зиновьева и Каменева об их прошлой преступной деятельности ровно столько же правды, сколько в их заверениях в любви к Сталину. Они жертвы тоталитарной системы, которая не заслуживает ничего кроме проклятия.

ПОЧЕМУ ОНИ КАЮТСЯ В НЕСОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ?

1 января 1937 года. Этой ночью заревели обе сирены танкера, воздушная и паровая, дважды выстрелила сигнальная "пушка": "Руфь" приветствовала новый год. Никто не откликнулся. За все время мы встретили, кажись, только два парохода. Правда, мы держимся необычного пути. Зато сопровождающий нас фашистский полицейский офицер получил от своего социалистического министра, Трюгве Ли, поздравление по радио с новым годом. Не хватало только поздравления от Ягоды и Вышинского!

Самый простой для меня способ защиты против московских обвинений, был бы такой: "Вот уже почти десять лет, как я не только не несу за Зиновьева и Каменева никакой ответственности, но наоборот, множество раз бичевал их, как изменников. Действительно ли эти капитулянты, разочаровавшись в своих надеждах и запутавшись в интригах, дошли до терроризма, я знать не могу. Но совершенно ясно, что они хотели вымолить помилование, скомпрометировав меня". В таком объяснении не было бы ни одного слова лжи. Но это только половина правды, а следовательно неправда. Несмотря на мой давний разрыв с обвиняемыми, я не сомневаюсь ни на минуту, что те старые большевики, которых я в течение многих лет знал в прошлом, (Зиновьев, Каменев, Смирнов, Мрачковский), не совершили и не могли совершить ни одного из тех преступлений, в которых они "признавались". Людям неосведомленным такое утверждение кажется парадоксальным и, по меньшей мере, лишним. "Зачем, говорят они, осложнять собственную защиту защитой своих злейших врагов от них же самих? Разве это не дон-кихотство?" Нет, это не дон-кихотство.

Чтоб положить конец московскому конвееру подлога, нужно вскрыть политическую и психологическую механику "добровольных признаний".

В 1931 году в Москве был разыгран процесс меньшевиков, целиком основанный на покаяниях обвиняемых. Двух из них, историка Суханова и экономиста Громана, я знал лично, первого — довольно близко. Несмотря на то, что обвинительный акт в некоторых частях звучал фантастически, я не мог допустить, чтоб старые политические деятели, которых я при всей непримиримости наших взглядов считал честными и серьезными людьми, способны были так лгать на себя и на других. ГПУ, конечно, округлило собранный материал, говорил я себе, многое прибавило, многое выдумало, но в основе показаний должны быть заложены действительные факты.

Помню сын мой, живший в Берлине, говорил мне при позднейшей встрече во Франции: "Процесс меньшевиков, по-видимому, сплошная фальсификация". — "Но как же быть с показаниями Суханова и Громана? — возражал я ему. — Ведь это не подлецы и не продажные карьеристы!"

В объяснение, если не в оправдание, надо сказать, что я давно не следил за литературой меньшевиков, а с конца 1927 года жил вне политической среды (Центральная Азия, Турция) и совершенно не имел живых и непосредственных политических впечатлений. Моя ошибка в оценке процесса меньшевиков вытекала, во всяком случае, не из доверия к ГПУ (я и в 1931 году знал, что это учреждение выродилось в шайку негодяев), а из доверия к личности некоторых подсудимых. Я недооценил далеко зашедшую вперед технику деморализации и коррупции и переоценил нравственную стойкость некоторых жертв ГПУ.

Дальнейшие разоблачения по делу меньшевиков и новые процессы с ритуальными покаяниями раскрыли, по крайней мере для мыслящих людей, инквизиционные секреты ГПУ еще до процесса Зиновьева-Каменева.

В мае 1936 года я писал в "Бюллетене оппозиций": "Целая серия публичных политических процессов в СССР показала, с какой готовностью некоторые подсудимые возводят на себя преступления, которых они явно не совершали. Эти подсудимые, как бы играющие на суде затвержденную роль, отделываются очень легкими, иногда заведомо фиктивными нака-

заниями. Именно в обмен на такую снисходительность юстиции они и дают свои "признания". Для чего, однако, фальшивые самооговоры нужны властям? Иногда для того, чтоб подвести под удар третье лицо, заведомо не причастное к делу; иногда, чтобы прикрыть свои собственные преступления, вроде ничем не оправдываемых кровавых репрессий; наконец, для того, чтобы создать благоприятную обстановку для бонапартистской диктатуры... Вынуждение от подсудимого фантастических показаний против себя самого, чтоб рикошетом ударить по другим, давно уже стало системой ГПУ, т.е. системой Сталина". Эти строки были опубликованы за два месяца до процесса Зиновьева-Каменева (август 1936 года), когда я впервые был назван в качестве организатора террористического заговора.

Все обвиняемые, имена которых мне известны, принадлежали ранее оппозиции, затем испугались раскола или преследований и решили во что бы то ни стало вернуться в ряды партии. Правящая клика требовала от них заявить во всеуслышание, что их программа ложна. Ни один из них не думал этого, наоборот, все были уверены, что развитие доказало правоту оппозиции. Тем не менее они подписали в конце 1927 года заявление, в котором ложно возводили на себя обвинение в "уклонах", "ошибках", грехах против партии и возвеличивали новых вождей, к которым не питали уважения. В эмбриональной форме перед нами здесь заложены целиком будущие московские процессы.

Первой капитуляцией дело не ограничилось. Режим становился все более тоталитарным, борьба с оппозицией — все более бешеной, обвинения — все более чудовищными. Политических дискуссий бюрократия допустить не могла, ибо дело шло о защите ее привилегий. Чтоб сажать противников в тюрьмы, ссылать их и расстреливать, недостаточно было обвинения в "уклонах". Нужно было приписать оппозиции стремление расколоть партию, разложить армию, низвергнуть советскую власть, восстановить капитализм. Чтоб подкрепить эти обвинения перед народом, бюрократия вытягивала каждый раз на свет божий бывших оппозиционеров, одновременно в

качестве свидетелей и обвиняемых.

Так капитулянты превращались постепенно в профессиональных лжесвидетелей против оппозиции и против себя самих. Во всех покаянных заявлениях неизменно фигурировало мое имя, как главного "врага" СССР, т.е. советской бюрократии: без этого документ не имел силы. Сперва дело шло лишь о моих уклонах в сторону "социал-демократии"; на следующем этапе говорилось о контр-революционных последствиях моей политики; еще дальше — о моем союзе де факто, если не де юре, с буржуазией против СССР и т.д. и т.д. Тот из спекулянтов, котрый пытался сопротивляться вымогательствам, встречал один и тот же ответ: "Значит ваши предшествующие заявления были неискренни, вы — тайный враг". Так последовательные покаяния становились ядром и тянули его на дно.*

Как только надвигались политические затруднения, бывших оппозиционеров снова арестовывали и ссылали по совершенно ничтожным или фиктивным поводам: задача состояла в том, чтобы разрушить нервную систему, убить личное достоинство, сломить волю. После каждой новой репрессии амнистию можно было получить только ценою двойного унижения. Требовалось заявить в печати: "Я признаю, что обманывал в прошлом партию, что держал себя в отношении советской власти нечестно, что был фактическим агентом буржуазии, но отныне я окончательно разрываю с троцкистскими контр-революционерами..." и т.д. Так совершалось шаг за шагом "воспитание", т.е. деморализация, десятков тысяч членов партии, а косвенно и всей партии, обвиняемых, как и обвинителей.

Убийство Кирова (декабрь 1934 года) придало процессу растления партийной совести небывалую ранее остроту. После ряда противоречивых и лживых официальных заявлений, бюрократии пришлось ограничиться полумерой, именно "при-

* См. об этом мою книгу "Преданная революция", написанную до процесса 16-и.

знанием" Зиновьева, Каменева и других в том, что на них лежит "моральная ответственность" за террористический акт. Это заявление было исторгнуто простым аргументом: "Если вы не поможете нам возложить на оппозицию хотя бы моральную ответственность за террористические акты, вы обнаружите тем свое фактическое сочувствие террору, и мы с вами поступим по заслугам". На каждом новом этапе вставала перед капитулянтами одна и та же альтернатива: либо отказаться от всех прежних "признаний" и вступить в безнадежный конфликт с бюрократией, без знамени, без организации, без личного авторитета; либо сделать еще шаг вниз, взвалив на себя и на других еще большие гнусности. Такова эта профессия падений! Установив ее приблизительный "коэффициент", можно было заранее предвидеть характер "покаяния" на следующем этапе. Я не раз производил эту операцию в печати.

Для достижения своих целей у ГПУ есть множество дополнительных ресурсов. Не все революционеры держали себя достойно в царских тюрьмах: одни каялись, другие выдавали, третьи просили милости. Старые архивы давно изучены и классифицированы. Наиболее ценные досье хранятся в секретариате Сталина. Достаточно вынуть одну из этих бумажек, и высокий сановник ввергается в бездну.

Другие сотни нынешних бюрократов находились в лагере белых в эпоху Октябрьской революции и гражданской войны. Таков, например, цвет сталинской дипломатии: Трояновский, Майский, Хинчук, Суриц и пр. Таков цвет журналистики: Кольцов, Заславский и многие другие. Таков сам грозный обвинитель Вышинский, правая рука Сталина. Молодое поколение об этом не знает, старое делает вид, что забыло. Стоит вслух напомнить о прошлом какого-нибудь Трояновского, и репутация дипломата разбита вдребезги. Сталин может, поэтому, требовать от Трояновских любых заявлений и свидетельств: Трояновские дадут их без отказа.

Покаянию каждой из крупных фигур предшествуют обычно ложные свидетельства десятков лиц, составляющих ее окружение. ГПУ начинает с ареста секретарей, стенографов, маши-

нисток и обещает им не только освобождение, но и всякие льготы, если они дадут нужные показания против вчерашнего "патрона". Уже в 1924 году ГПУ довело моего секретаря Глазмана до самоубийства.

В 1928 году начальник моего секретариата, инженер Бутов, ответил голодной забастовкой на попытку ГПУ добиться от него ложных показаний против меня и на пятидесятый день умер в тюрьме. Два других моих сотрудника, Сермукс и Познанский, не покидали с 1929 года тюрьмы и ссылки. Какова ныне их судьба, мне неизвестно.

Не все секретари отличаются такой стойкостью. Большинство их деморализовано капитуляциями своих патронов и всей вообще гнилой атмосферой режима. Чтоб вырвать показания у Смирнова или Мрачковского, ГПУ вооружилось ложными доносами их близких и далеких сотрудников, бывших друзей и родственников. Намеченная жертва оказывается в конце концов до такой степени окутанной сетью ложных свидетельств, что всякое сопротивление кажется бессмысленным.

ГПУ тщательно следит за семейными отношениями сановников. Аресту будущих обвиняемых нередко предшествуют аресты их жен. На самом процессе жены обычно не фигурируют, но во время следствия помогают ГПУ сломить волю мужей. Во многих случаях арестованный идет на признания под угрозой интимных разоблачений, которые могут скомпрометировать его в глазах жены и детей. Даже в официальных отчетах можно открыть следы этой закулисной игры!

Наиболее многочисленный человеческий материал для судебных амальгам доставляет, пожалуй, широкий слой плохих администраторов, действительных или мнимых виновников хозяйственных неудач, наконец, чиновников, неосторожных в обращении с общественными деньгами. Граница между легальным и нелегальным в СССР крайне туманна. Наряду с официальным жалованием существуют бесчисленные неофициальные и полуполикарные подачки. В нормальные времена такие операции проходят безнаказанно. Но ГПУ имеет возможность в любой момент предоставить своей жертве на выбор: погибнуть в качестве простого растратчика и вора или

попытаться спастись, в качестве мнимого оппозиционера, увлеченного Троцким на путь государственной измены.

Доктор Цилика, югославский коммунист, прошедший пять лет в тюрьмах Сталина, рассказывает, как упорствующих выводят несколько раз в день из камеры в тот двор, который служит для расстрелов, и затем возвращают в камеру. Это действует. Каленого железа не применяют. Вероятно, не применяют и специфических медикаментов. Достаточно "морально-го" воздействия таких прогулок.

Простаки спрашивают: как же Сталин не боится, что его жертвы на открытом суде не очнутся и не обличат подлог? Риск такого рода совершенно ничтожен. Большинство подсудимых трепещет не только за себя, но и за своих близких. Не так просто решиться на эффектный жест в зале суда, когда жена, сын, дочь или все они вместе являются заложниками в руках ГПУ. И что значит раскрыть подлог? Ведь физических пыток не было. "Добровольные признания каждого обвиняемого составляют естественное продолжение его предшествовавших покаяний. Как заставить поверить судебный зал и все человечество, что все заявления и признания в течение десяти лет представляли лишь клевету на самого себя?

Смирнов пытался опровергнуть на суде "признания", сделанные им на предварительном следствии. Ему сейчас же противопоставили, в качестве свидетельницы, его жену, ему противопоставили его собственные предшествующие показания, все остальные подсудимые немедленно же начали клеветать его.

К этому надо прибавить враждебность зала. По телеграммам и корреспонденция услужливых журналистов, суд кажется "гласным". На самом деле зал битком набит агентами ГПУ, которые намеренно хохочут в самых драматических местах и аплодируют наиболее зверским выпадам прокурора. Иностранцы? Безразличные дипломаты, не знающие русского языка, или иностранные журналисты, типа Дуранти, которые принесли готовое мнение в кармане! Французский журналист описывал очень картинно, как Зиновьев жадным взором обводил зал, но, не найдя ни одного сочувствующего

лица, опустил в бессилии голову. Прибавьте к этому: стенографистки полностью в руках ГПУ, председатель в любой момент может прервать заседание, агенты ГПУ, изображающие публику могут поднять бешеный рев. Все предусмотрено. Все роли расписаны. Обвиняемый, который во время предварительного следствия примирился с навязанной ему постыдной ролью, не видит никаких оснований менять ее во время суда: он рискует лишь потерять последнюю тень надежды на спасение.

Спасение? Но Зиновьев и Каменев, по мнению г.г.Притта и Розенмарка, не могли рассчитывать спасти свою жизнь посредством покаяния в несовершенных преступлениях. Почему не могли? В прошлом было несколько процессов, где обвиняемые спасли свою жизнь путем фальшивых самообличений. Подавляющее большинство людей, следивших за московским процессом во всех концах мира, надеялось на помилование обвиняемых. То же самое наблюдалось и в СССР. Интереснейшее свидетельство об этом мы находим в лондонском "Дейли Геральд", органе той партии, парламентскую фракцию которой украшает г.Притт.

Сейчас же, после казни 16-и, московский корреспондент "Дейли Геральд" писал: "До последнего момента 16 расстрелянных сегодня надеялись на помилование. И он прибавляет — "В широких кругах предполагалось, что специальный декрет, проведенный пять дней тому назад и дававший им право апелляция, издан был с целью пощадить их". Это свидетельство показывает, что даже в Москве до последнего часа царила атмосфера надежд на помилование. Эти надежды намеренно поддерживались и питались сверху. Смертный приговор подсудимые встретили, по словам очевидцев, спокойно, как нечто само собою разумеющееся: они понимали, что придать вес их театральным покаяниям может только смертный приговор. Они не понимали, т.е. старались не понимать, что придать настоящий вес смертному приговору может лишь приведение его в исполнение. Каменев, наиболее расчетливый и вдумчивый из обвиняемых, питал, видимо, наибольшие сомнения на-

счет исхода неравной сделки. Но и он должен был сотни раз повторять себе: неужели Сталин решится? Сталин решился.

В первые два месяца 1923 года больной Ленин готовился открыть решительную борьбу против Сталина. Он опасался, что я пойду на уступки и 5 марта предостерегал меня: "Сталин заключит гнилой компромисс, а потом обманет". Эта формула как нельзя лучше охватывает политическую методологию Сталина, в том числе и в отношении 16 подсудимых: он заключил с ними "компромисс" — через следователя ГПУ, а затем обманул их — через палача.

Методы Сталина не были тайной для подсудимых. Еще в начале 1926 года, когда Зиновьев и Каменев открыто порвали со Сталиным, и в рядах левой оппозиции обсуждался вопрос, с кем из противников мы могли бы заключить блок, Мрачковский, один из героев гражданской войны, сказал: "Ни с кем: Зиновьев убежит, а Сталин обманет". Эта фраза стала крылатой. Зиновьев заключил с нами вскоре блок, а затем действительно "убежал". Вслед за ним, в числе многих других, "убежал", впрочем, и Мрачковский. "Убежавшие" попытались заключить блок со Сталиным. Тот пошел на "гнилой компромисс", а потом обманул. Подсудимые выпили чашу унижений до дна. После этого их поставили к стенке.

Механика, как видим, сама по себе несложна. Она лишь требует тоталитарного режима, т.е. отсутствия малейшей свободы критики, военного подчинения подсудимых, свидетелей, следователей, экспертов, прокуроров, судей, одному и тому же лицу и полной монолитности прессы, которая своим волчьим воем устрашает обвиняемых и гипнотизирует общественное мнение.

"ЖАЖДА ВЛАСТИ".

3 января. По словам Вышинского (август 1936) у "Объединенного центра" не было никакой программы. Им руководила лишь "голая жажда власти". Я, конечно, томился этой "жаждой" больше других. Тему о моем властолюбии не раз развивали наемники Коминтерна и некоторые буржуазные журналисты. В моем нетерпеливом стремлении овладеть рулем государства эти господа пытались найти ключ к моей неожиданной деятельности, в качестве террориста. Такое объяснение — "жажда власти" — неплохо укладывается в ограниченную голову среднего филистера.

Когда, в начале 1926 года "новая оппозиция" (Зиновьев, Каменев и др.) вступили со мной и моими друзьями в переговоры о совместных действиях, Каменев говорил мне в первой беседе с глазу на глаз: "Блок осуществим, разумеется, лишь в том случае, если вы намерены вести борьбу за власть. Мы в своей среде несколько раз ставили себе этот вопрос: может быть Троцкий устал и намерен ограничиваться литературной критикой, не вступая на путь борьбы за власть?.." В те дни не только Зиновьев, великий агитатор, но и Каменев, "умный политик", по определению Ленина, находились еще полностью в плену иллюзии, будто утерянную власть легко будет вернуть. "Как только вы появитесь на трибуне рука об руку с Зиновьевым, говорил мне Каменев, партия скажет: "Вот Центральный Комитет! Вот правительство!" Весь вопрос только в том, собираетесь ли вы создавать правительство?"

После трех лет оппозиционной борьбы (1923-1926 г.г.) я ни в малейшей степени не разделял этих оптимистических ожиданий. Наша группа ("троцкисты") успела к тому времени выработать уже довольно законченные представления о второй, термидорианской главе революции, о растущем разладе между бюрократией и народом, о национально-консервативном перерождении правящего слоя, о глубоком влиянии на судьбы СССР поражений мирового пролетариата. Вопрос о власти не стоял для меня самостоятельно, т.е. вне связи с

этим основными внутренними и международными процессами. Роль оппозиции на ближайший период получила по необходимости подготовительный характер. Надо было воспитывать новые кадры и ждать дальнейшего развития событий. В этом смысле я и ответил Каменеву: "Я не чувствую себя ни в малейшей мере "уставшим", но считаю, что надо запастись терпением на целый исторический период. Дело идет сейчас не о борьбе за власть, а лишь о подготовке идейных и организационных орудий для такой борьбы на случай нового подъема революции. Когда он наступит, не знаю".

Кто читал мою автобиографию, "Историю русской революции", критику Третьего Интернационала, или последнюю книгу "Преданная революция", тому приведенный только что диалог с Каменевым не сообщит ничего нового. Я воспроизвел его здесь лишь потому, что он, сам по себе, достаточно ярко освещает вздорность и глупость приписываемой мне московскими фальшивомонетчиками "идеи": при помощи нескольких револьверных выстрелов повернуть колесо революции назад, к исходной октябрьской точке.

Уже в течение ближайших полутора лет ход внутривластной борьбы развеял иллюзии Зиновьева и Каменева насчет скорого возвращения к власти. Из этой проверки они сделали, однако, вывод, прямо противоположный тому, который отстаивал я. "Раз нет возможности вырвать власть у правящей ныне группы, — заявил Каменев, — остается одно: вернуться в общую упряжку". К тому же заключению, с большими колебаниями в ту и другую сторону, пришел и Зиновьев.

Накануне, а может быть уже и во время XV съезда партии, исключавшего оппозицию, в декабре 1927 года, у меня был последний разговор с Зиновьевым и Каменевым. В те дни каждому из нас приходилось определять свою дальнейшую судьбу на долгий ряд лет, вернее, на весь остаток жизни. Под конец спора, который велся в сдержанных, но по существу глубоко "патетических" тонах, Зиновьев сказал мне: "В Заветании Владимир Ильич (Ленин) предупреждал, что отношения между Троцким и Сталиным могут расколоть партию. Подумайте, какую ответственность вы на себя берете! Верна

или не верна наша платформа? Сейчас она более верна, чем когда бы то ни было! (через немного дней оба публично отреклись от платформы). Если так, то самая острота борьбы аппарата против нас свидетельствует о том, что дело идет не о конъюнктурных разногласиях, а о социальных противоречиях. Тот же Ленин в том же "Завещании" писал, что если разногласия в партии совпадут с расхождением между классами, то никакая сила не спасет нас от раскола, и меньше всего спасет от него капитуляция!"

Помню, что после нескольких реплик я снова вернулся к "Завещанию", в котором Ленин напоминал, что Зиновьев и Каменев отшатнулись в 1917 году от восстания "не случайно".

"Сейчас момент в своем роде не менее ответственный, и вы собираетесь сделать новую ошибку того же типа, которая может оказаться величайшей ошибкой вашей жизни!" Эта беседа была последней. Мы не обменялись после того ни одним письмом, ни одной вестью, ни прямо, ни косвенно. В течение следующих десяти лет я не переставал бичевать капитуляцию Зиновьева и Каменева, которая помимо жестокого удара по оппозиции привела к гораздо более трагическим результатам для них самих, чем я мог ожидать в конце 1927 года.

26 мая 1928 года я писал из Алма-Ата (Центральная Азия) друзьям: "Нет, мы партии еще очень и очень понадобятся. Не нервничать по поводу того, что "все сделается без нас", не терять зря себя и других, учиться, ждать, зорко глядеть и не позволять своей политической линии покрываться ржавчиной личного раздражения на клеветников и пакостников — вот каково должно быть наше поведение".

Не будет преувеличением сказать, что высказанная в этих строках мысль является основным мотивом моей политической деятельности. Начиная с молодых годов, я учился в школе марксизма презрению к тому поверхностному субъективизму, который стремится подстегнуть историю детским кнутиком или хлопущей. В мнимореволюционном нетерпении я всегда видел источник как оппортунизма, так и

авантюризма. В сотнях статей я нападал на тех, кто "предъявляют истории счет раньше срока" (май 1909 года). В марте 1931 года я с особенной симпатией цитировал слова моего покойного единомышленника, Котэ Цинцадзе, погибшего в ссылке: "Беда с людьми, которые не умеют ждать!"

Обвинение в нетерпении я отвергаю, как и многие другие обвинения. Я умею ждать. Да и что, в сущности, означает в данном случае "ждать"? Готовить будущее! Но разве не к этому сводится вся деятельность революционера?

Для пролетарской партии власть есть средство социалистической перестройки общества. Никуда не годился бы тот революционер, который не стремился бы поставить на службу своей программы государственный аппарат принуждения. В этом смысле борьба за власть представляет собою не какую-либо самостоятельную функцию, а совпадает со всей вообще революционной работой: воспитанием и объединением трудящихся масс. Поскольку овладение властью естественно вытекает из этой работы и служит ей, постольку и самая власть может доставить личное удовлетворение. Но нужны совершенно исключительная тупость и вульгарность, чтобы стремиться к власти ради власти. На это способны лишь люди, непригодные ни на что лучшее.

"НЕНАВИСТЬ К СТАЛИНУ".

4 января. Остается еще сказать о так называемой "ненависти" моей к Сталину. О ней немало говорилось на московском процессе, как о движущем мотиве моей политики. В устах какого-нибудь Вышинского, в передовицах московской "Правды" и органов Коминтерна разглагольствования о моей "ненависти" к Сталину представляют оборотную сторону возвеличения "вождя". Сталин творит "счастливую жизнь". Низвергнутые противники способны лишь завидовать ему и "ненавидеть" его. Таков глубокий психоанализ лакеев!

К касте жадных выскочек, которые душат народ "именем социализма", я отношусь с непримиримой враждебностью и, если угодно, с ненавистью. Но в этом чувстве нет ровно ничего персонального. Я слишком близко наблюдал все этапы перерождения революции и почти автоматической узурпации ее завоеваний, я слишком настойчиво и тщательно искал объяснений этих процессов в объективных условиях социальной борьбы, чтоб сосредоточивать свой взгляд и свои чувства на отдельном лице. Уже тот наблюдательный пункт, который я занимал, не позволял мне отождествлять реальную человеческую фигуру с ее гигантской тенью на экране бюрократии. Я считаю себя поэтому вправе сказать, что никогда не возвышал Сталина в своем сознании до чувства ненависти к нему.

Если оставить в стороне случайную встречу, без слов, в Вене, около 1911 года, на квартире Скобелева, будущего министра Временного Правительства, — то впервые я соприкоснулся со Сталиным после прибытия из канадского концентрационного лагеря в Петербург, в мае 1917 года.

Сталин был тогда для меня лишь одним из членов большевистского штаба, менее заметным, чем ряд других. Он не оратор. Пишет серо. Его полемика груба и вульгарна. На фоне грандиозных митингов, демонстраций, столкновений он политически едва существовал. Но и на совещаниях большевистского штаба он оставался в тени. Его медлительная мысль не поспевала за темпом событий. Не только Зиновьев и Каменев, но и молодой Свердлов, даже Сокольников занимали большее место в прениях, чем Сталин, который весь 1917 год провел в состоянии выжидательности. Позднейшие попытки наемных историков приписать Сталину в 1917 году чуть не руководящую роль (через посредство никогда не существовавшего "Комитета" по руководству восстанием) представляют грубейшую историческую подделку.

После завоевания власти Сталин стал чувствовать себя и действовать несколько более уверенно, не переставая, однако, оставаться фигурой второго плана. Я заметил вскоре, что Ленин "выдвигает Сталина". Не очень задерживаясь вни-

манием на этом факте, я ни на минуту не сомневался, что Лениным руководят не личные пристрастия, а деловые соображения. Постепенно они выяснились мне. Ленин ценил в Сталине характер: твердость, выдержку, настойчивость, отчасти и хитрость, как необходимое качество в борьбе. Самостоятельных идей, политической инициативы, творческого воображения он от него не ждал и не требовал. Помню во время гражданской войны я расспрашивал члена ЦК Серебрякова, который тогда работал вместе со Сталиным в Революционном Военном Совете южного фронта: нужно ли там участие их обоих? Не смог ли бы Серебряков в интересах экономии сил справиться и без Сталина? Подумав, Серебряков ответил: "Нет, так нажимать, как Сталин, я не умею, это не моя специальность". Способность "нажимать" Ленин в Сталине очень ценил. Сталин чувствовал себя тем увереннее, чем больше рос и креп государственный аппарат "нажимания". Надо прибавить: и чем больше дух 1917 года отлетал от этого аппарата.

Нынешние официальные приравнения Сталина Ленину — просто непристойность. Если исходить из размеров личности, то нельзя поставить Сталина на одну доску даже с Муссолини или Гитлером. Как ни скудны "идеи" фашизма, но оба победоносных вождя реакции, итальянский и германский, начинали с начала, проявляли инициативу, поднимали на ноги массы, пролагали новые пути.

Ничего этого нельзя сказать о Сталине. Он вырос из аппарата и неотделим от него. К массам у него нет другого подхода, как через аппарат. Только после того, как обострение социальных противоречий на основе НЭПа позволило бюрократии подняться над обществом, Сталин стал подниматься над партией.

В первый период он сам был застигнут врасплох собственным подъемом. Он ступал неуверенно, озираясь по сторонам, всегда готовый к отступлению. Но его в качестве противовеса мне, поддерживали и подталкивали Зиновьев и Каменев, отчасти Рыков, Бухарин, Томский. Никто из них не думал тогда, что Сталин перерастет через их головы. В период

"тройки" Зиновьев относился к Сталину осторожно-покровительственно. Каменев — слегка иронически. Помню, Сталин в прениях ЦК употребил однажды слово "ригористический" совсем не по назначению (с ним это случается нередко); Каменев оглянулся на меня лукавым взглядом, как бы говоря: "Ничего не поделаешь, надо брать его таким, каков он есть". Бухарин считал, что "Коба" (старая подпольная кличка Сталина) — человек с характером (о самом Бухарине Ленин публично говорил: "мягче воска") и что "нам" такие нужны, а если он невежественен и мало культурен, то "мы" ему поможем. На этой идее основан был блок Сталина-Бухарина после распада тройки. Так все условия, и социальные и персональные, содействовали подъему Сталина.

В 1923 или 24 году И.Н.Смирнов, расстрелянный позже вместе с Зиновьевым и Каменевым, возражал мне в частной беседе: "Сталин — кандидат в диктаторы? Да ведь это же совсем серый и ничтожный человек". "Серый — да, ничтожный — нет", — отвечал я Смирнову.

На ту же тему были у меня два с лишним года спустя споры с Каменевым, который, вопреки очевидности, утверждал, что Сталин — "вождь уездного масштаба".

В этой саркастической характеристике была, конечно, частица правды, но только частица. Такие свойства интеллекта, как хитрость, вероломство, способность играть на низших свойствах человеческой натуры, развиты у Сталина необычайно и при сильном характере представляют могущественные орудия в борьбе. Конечно, не во всякой. Освободительной борьбе масс нужны другие качества. Но где дело идет об отборе привилегированных, об их сплочении духом касты, об обессилении и дисциплинировании масс, там качества Сталина поистине неопределимы, и они по праву сделали его вождем Термидора.

И все же взятый в целом Сталин остается посредственностью. Он не способен ни к обобщению, ни к предвидению. Его ум лишен не только блеска и полета, но даже способности к логическому мышлению. Каждая фраза его речи преследует какую-либо практическую цель; но речь в целом никогда не поднимается до логического построения. В этой

слабости — сила Сталина.

Бывают исторические задачи, разрешить которые можно только отказавшись от обобщений; бывают эпохи, когда обобщение и предвидение исключают непосредственные успехи: это эпохи сползания, снижения, реакции. Гельвеций говорил некогда, что каждая общественная эпоха требует своих великих людей, а когда таковых не находит, то она изобретает их. По поводу забытого ныне французского генерала Шангарнье Маркс писал: "При полном недостатке в великих людях партия порядка естественно была вынуждена приписать недостающую всему ее классу силу одному единственному индивидууму и таким образом раздула его в какое-то чудовище". Чтоб закончить с цитатами, можно применить к Сталину слова, сказанные Энгельсом о Веллингтоне: "Он велик в своем роде, а именно настолько велик, насколько можно быть великим, не переставая быть посредственностью". Индивидуальное "величие" есть в последнем счете — социальная функция.

Если бы Сталин мог с самого начала предвидеть, куда его заведет борьба против "троцкизма", он, вероятно, остановился бы, несмотря на перспективу победы над всеми противниками. Но он ничего не предвидел. Предсказания противников насчет того, что он станет вождем Термидора, могильщиком партии и революции, казались ему пустой игрой воображения. Он верил в самодовлеющую силу аппарата, в его способность разрешать все задачи. Он совершенно не понимал выполняемой им исторической функции. Отсутствие творческого воображения, неспособность к обобщению и к предвидению, убили Сталина, как революционера. Но те же черты позволили ему авторитетом бывшего революционера прикрыть восхождение термидорианской бюрократии.

Сталин систематически развращал аппарат. В ответ аппарат разнуздывал своего вождя. Те черты, которые позволили Сталину организовать величайшие в человеческой истории подлоги и судебные убийства, были, конечно, заложены в его природе. Но понадобились годы тоталитарного всемогущества, чтоб придать этим преступным чертам поистине апокалиптические размеры.

Я упомянул выше хитрость и отсутствие сдерживающих внутренних начал. К этому надо прибавить жестокость и мстительность. Ленин еще в 1921 году предостерегал против назначения Сталина в генеральные секретари: "Этот повар будет готовить только острые блюда". В 1923 году, в интимной беседе с Каменевым и Дзержинским, Сталин признавался, что высшее для него наслаждение в жизни состоит в том, чтоб наметить жертву, подготовить месть, нанести удар, а затем пойти спать. "Он дурной человек, — говорил мне о Сталине Крестинский, — у него желтые глаза". Сталина не любили даже в рядах бюрократии, до тех пор пока не почувствовали надобности в нем.

Не без колебаний приведу два факта из личной жизни Сталина, которые получают теперь общественное значение. Бухарин рассказывал мне лет 12 тому назад, как Сталин развлекался, пуская своей десятилетней девочке дым из трубки в лицо: ребенок задыхался и плакал, а Сталин смеялся. "Да что вы выдумываете!" — прервал я Бухарина. "Ей-богу, правда", — отвечал он, со свойственной ему ребячливостью. Десятилетний сын Сталина часто укрывался у нас на квартире, весь бледный, с дрожащими губами. "Мой папа сумасшедший", — говорил он вслух, уверенный, что наши стены обеспечивают его неприкосновенность.

Чем бесконтрольнее становилась власть бюрократии, тем грубее выпирали наружу преступные черты в характере Сталина. Крупская, которая в 1926 году примкнула ненадолго к оппозиции, рассказывала мне о глубоком недоверии и острой неприязни, с какими Ленин относился к Сталину в последний период своей жизни и которые нашли лишь крайне смягченное выражение в его "Завещании". "Володя говорил мне: у него (Сталина) нет элементарной честности, понимаешь, самой простой человеческой честности..."

Последний оставшийся от Ленина документ — это продиктованное им письмо, в котором он извещал Сталина о разрыве с ним всех личных и товарищеских отношений. Можно себе представить, как накопело у больного на сердце, если он решился на такой крайний шаг!.. А между тем подлинный "ста-

линизм" развернулся только после смерти Ленина.

Нет, личная ненависть — слишком узкое, домашнее, комнатное чувство, чтоб оно могло оказать воздействие на направление исторической борьбы, неизмеримо перерастающей каждого из участников. Разумеется, Сталин заслуживает самой суровой кары и как могильщик революции и как организатор неслыханных преступлений. Но эта кара не есть самостоятельная цель, и для нее не существует особых методов. Она должна вытечь — и вытечет! — из победы рабочего класса над бюрократией. Этим я вовсе не хочу умалить лежащую лично на Сталине ответственность. Наоборот, именно потому, что его преступления так беспримерны, отвечать на них террористическим актом не может придти в голову ни одному серьезному революционеру. Только историческая катастрофа сталинизма, в результате революционной победы масс, может доставить не только политическое, но и нравственное удовлетворение. А эта катастрофа неизбежна.

Чтоб закончить с "ненавистью" и "жаждой власти", мне приходится прибавить, что несмотря на личные испытания последнего периода, я бесконечно далек от той психологии "отчаянья", какую навязывают мне советская печать, сталинская прокуратура и их неосторожные или неумные "друзья" на Западе. Ни один день за эти тринадцать лет я не чувствовал себя ни сломленным ни побежденным. Ни на один день я не переставал глядеть на клевету и клеветников сверху вниз. В школе великих исторических потрясений я учился и, думаю, научился измерять ход развития его собственным, внутренним ритмом, а не коротким метром личной судьбы. К людям, которые способны видеть жизнь в черном цвете только потому, что они потеряли священный министерский пост, я могу питать лишь ироническое сожаление. Движение, которому я служу, проходило на моих глазах через периоды подъемов, спусков и новых подъемов. Сейчас оно далеко отброшено назад. Но в объективных условиях мирового хозяйства и мировой политики заложены условия нового гигантского подъема, который далеко оставит позади все предшест-

вующие. Ясно предвидеть это будущее, готовиться к нему через все трудности настоящего, содействовать формированию новых марксистских кадров — выше этой задачи для меня нет ничего... Остается только извиниться перед читателем за эти чисто личные признания: они вынуждены самым существом судебного подлога.

5 января, семнадцатый день пути. После эпизодического поражения петербургских рабочих в июле 1917 года, правительство Керенского объявило Ленина, меня и ряд других большевиков (Сталин не попал тогда в их число только потому, что им никто не интересовался) агентами немецкого генерального штаба. Опорой обвинения явились показания прапорщика Ермоленко, агента царской контрразведки. На первом после "разоблачения" заседании большевистской фракции Совета царило настроение подавленности, недоумения, почти кошмара. Ленин и Зиновьев уже скрылись. Каменев был арестован. "Ничего не поделаешь, — говорил я в своем докладе, — петербургских рабочих побили, большевистскую партию загнали в подполье. Соотношение сил сразу изменилось. Все темное, невежественное полезло наверх. Прапорщик Ермоленко стал вдохновителем Керенского, который немногим выше его. Придется нам пройти через эту непредвиденную главу... Но когда массы поймут связь между клеветой и интересами реакции, они повернутся в нашу сторону". Я не предвидел тогда, что Иосиф Сталин, член ЦК большевистской партии, обновит через 18 лет версию Керенского-Ермоленко!

Ни один обвиняемый из числа старых большевиков не признал своей "связи" с гестапо. Между тем, они не были скупы на признания. Каменеву, Зиновьеву и другим воспрепятствовали следовать до конца за ГПУ не только остатки самоуважения, но и соображения здравого смысла. По их диалогу с прокурором относительно гестапо нетрудно восстановить тот торг, который велся за кулисами во время судебного следствия. "Вы хотите опорочить и уничтожить Троцкого? — говорил, вероятно, Каменев. — Мы вам поможем. Мы готовы представить Троцкого организатором террористических актов. Буржуазия в этих вопросах плохо разбирается, да и

не только буржуазия: большевики... террор... убийства... жажда власти... жажда мести... Этому могут поверить... Но никто не поверит, что Троцкий или мы, Каменев, Зиновьев, Смирнов и пр., связаны с Гитлером. Перейдя все пределы вероятия, мы рискуем скомпрометировать и обвинение в терроре, которое, как вы сами хорошо знаете, тоже не воздвигнуто на гранитном фундаменте. К тому же обвинение в связи с гестапо слишком напоминает клевету на Ленина и того же Троцкого в 1917 году..."

Предположительная аргументация Каменева достаточно убедительна. Сталина она, однако, не поколебала: он ввел в дело гестапо. Первое впечатление таково, что злоба ослепила его. Но это впечатление, если и не ошибочно, то односторонне. У Сталина тоже не было выбора. Обвинение в терроре само по себе не решало задачи. Буржуазия подумает: "Большевики уничтожают друг друга; подождем, что из этого выйдет".

Что касается рабочих, то значительная часть их может сказать: "Советская бюрократия захватила все богатства и всю власть и подавляет каждое слово критики, — может быть Троцкий и прав, призывая к террору. Наиболее горячая часть советской молодежи, узнав, что за террором стоит авторитет хорошо известных ей имен, может действительно повернуть на этот еще неизведанный ею путь".

Сталин не мог не предвидеть опасных последствий собственной игры. Именно поэтому возражения Каменева и других на него не действовали. Ему необходимо было утопить противников в грязи. Ничего более действительного, чем связь с гестапо он придумать не мог. Террор в союзе с Гитлером! Рабочий, который поверит этой амальгаме, получит навсегда прививку против "троцкизма". Трудность только в том, чтоб заставить поверить...

Ткань процесса, даже в той приглаженной и фальсифицированной форме, в какой она выступает из официального "Отчета" (Изд. Народного комиссариата юстиции), представляет такое нагромождение противоречий, анахронизмов и просто бессмыслицы, что одно лишь систематическое изложение "Отчета" разрушает все обвинение. Это не случайно. ГПУ

работает вне контроля. Никаких трений, разоблачений, неожиданностей опасаться не приходится. Полная солидарность прессы обеспечена. Следователи ГПУ рассчитывают гораздо больше на устрашение, чем на собственную изобретательность. Даже как подлог, процесс груб, нескладен, местами непроходимо глуп. Нельзя не отметить, что дополнительную печать глупости накладывает на него всемогущий прокурор Вышинский, бывший провинциальный адвокат из меньшевиков.

И все же замысел чудовищнее исполнителя. Тот факт, например, что важнейший свидетель против меня, единственный из старых большевиков, который будто бы непосредственно посетил меня за границей, именно Гольцман, имел несчастье назвать в качестве проводника моего сына, которого в Копенгагене не было, и выбрать местом свидания отель "Бристоль", которого давно нет на свете, — этот и подобные факты имеют, с чисто юридической точки зрения, решающее значение.

Но для всякого мыслящего человека, не лишенного психологического и нравственного чутья, нет, в сущности, надобности в этих "маленьких" дефектах большого подлога. Узор фальшивой монеты может оказаться лучше или хуже выполненным. Но стоит ли разбираться в узоре, если взяв монету на ладонь, я могу уверенно сказать: она легковесна, или, бросив ее на стол, я обнаружу, что она звучит глухим звуком "амальгамы". Утверждение, будто я мог вступить в союз с гестапо, чтоб убить сталинского чиновника Кирова, настолько глупо само по себе, что умный и честный человек не захочет даже разбираться в подробностях сталинского подлога.

ПОСЫЛКА "ТЕРРОРИСТОВ" ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ.

6 я н в а р я . Ночью вошли в Мексиканский залив. Температура воды 27°C! В каюте жарко. Полицейский офицер и капитан регулируют по радио условия нашей высадки (видимо, в Тампико, а не Вэра-Крус, как предполагалось несколько дней тому назад).

С подготовкой судебных подлогов связана одна из самых постыдных глав советской дипломатии: инициатива Литвинова в деле международной борьбы с террористами. 9 октября 1934 года во Франции были убиты югославский король Александр и французский министр Барту. Убийство организовано было кроатскими и болгарскими националистами, за спиной которых стояли Венгрия и Италия. Если марксизм отвергает террористические методы борьбы, то отсюда вовсе не вытекает, что марксисты могут подать руку империалистской полиции в целях совместного истребления "террористов". Между тем, именно таково было поведение Литвинова в Женеве. Со ссылками на Маркса, он выдвинул лозунг: "Полицейские всех стран, объединяйтесь!" "Не может быть, говорил я тогда же друзьям, чтоб эта гнусность не преследовала какой-то вполне определенной цели. Для расправы над внутренними противниками Сталин не нуждается в Лиге наций. Против кого же направлены речи Литвинова?" Я не мог не ответить: п р о т и в м е н я . Что именно готовится, этого я, конечно, знать не мог. Но для меня было уже тогда несомненно, что дело идет о каком-то гигантском подлоге, в который я какими-то путями должен быть втянут, причем международная полиция, вдохновляемая Литвиновым, должна помочь Сталину добраться до меня.

Сейчас вся эта махинация представляется совершенно очевидной. Первые попытки Литвинова создать священный союз против "террористов" совпадают с периодом подготовки первой амальгамы вокруг Кирова. Соответствующие инструкции даны были Сталиным Литвинову до убийства Кирова, т.е. в те горячие дни, когда ГПУ готовило покушение в расчете запутать в него оппозицию. Замысел оказался, однако, слишком сложен и встретил на пути ряд препятствий. Николаев выстрелил слишком рано. Латышский консул не успел связать террористов со мной. Международный трибунал против террористов не создан и до сих пор. От великого замысла добраться до меня через посредство Лиги наций остались пока что лишь скандальные выступления советского дипломата, направленные на объединение мировой полиции про-

тив "троцкизма".

"Террористическая" неделя в Копенгагене (ноябрь 1932 года) тесно связана с идеей международного трибунала. Если террористический Центр существует и действует в Москве, а я из-за границы только "вдохновляю" его посредством писем, которые никак не даются в руки прокуратуры, то возможность обвинения меня перед трибуналом Лиги наций остается слишком проблематической. Совершенно необходимо было, чтоб я лично посылал из-за границы живых террористов. Вот почему неизвестные мне молодые люди Берман и Фриц Давид явились ко мне будто бы в Копенгаген, где я в течение одной беседы превратил каждого из них в террориста, а заодно и в агента гестапо.

Отправляя их в СССР с поручением убить как можно большее число "вождей" в возможно короткий срок, я предлагал им, однако, не вступать в отношения с московским террористическим Центром... по соображениям конспирации: наиболее верное средство сохранить "террористический центр" в неприкосновенности состоит, видите ли, в том, чтобы освободить его от участия в террористических актах... С той же целью: подготовить необходимые свидетельские показания для трибунала Лиги наций, приезжал ко мне в Копенгаген Гольцман, который имел, однако, несчастье встретиться в давно упраздненном отеле с моим сыном, находившимся в это время в Берлине. С Ольбергом и двумя Лурье, Моисеем и Натаном, дело обстояло проще: я направил их на террористическую работу заочно, ни разу не видев их в глаза. Нет, копенгагенская неделя не принесла лавров авторам великого замысла. Но что могли они предложить другое?

* * *

Каменев с особой настойчивостью предрекал на суде, что, доколе Троцкий остается за границей, дотоле оттуда будут неизбежно прибывать в Советский Союз террористы. Сохраняя черты "умного политика" и на последней ступени своего унижения, Каменев наиболее прямо шел навстречу главной задаче Сталина: сделать мое пребывание невозможным ни в одном

из иностранных государств. Троцкий за границей означает террористические акты в СССР! Каменев обходил вопрос о том, из какой, собственно, среды я смогу вербовать террористов. За границей есть два круга русских людей: белая эмиграция и советские колонии вокруг посольств.

После моей высылки в Турцию ГПУ делало через посредство секций Коминтерна настойчивые попытки "связать" иностранных, в частности чешских, "троцкистов" с белой эмиграцией. Но первые же мои статьи, опубликованные за границей, положили конец этим проискам. Во всех своих, без исключения, группировках белая эмиграция, как она ни враждебна Сталину, чувствует себя политически несравненно ближе к нему, чем ко мне, и совершенно не скрывает этого. Что касается заграничных советских кругов, то они крайне узки и находятся под таким надзором ГПУ, что о какой-либо организационной работе в их среде не может быть и речи. Достаточно напомнить, что Блюмкин был расстрелян за один лишь визит ко мне, вскоре после моего прибытия в Константинополь: это была единственная моя встреча с советским гражданином за все годы моего нынешнего изгнания. Во всяком случае, в списке обвиняемых не оказалось никого из состава белой эмиграции или заграничных советских служащих.

Кто же такие те пять "террористов", которых я будто бы послал в Москву из-за границы и которые обнаружили свои террористические намерения только в зале судебных заседаний? Все это — еврейские интеллигенты, притом не из СССР, а из лимитрофов, входивших некогда в состав царской России (Литва, Латвия...) Их семьи бежали в свое время от большевистской революции, но представители младшего поколения, благодаря подвижности, приспособляемости, знанию языков, в частности русского, недурно устроились впоследствии в аппарате Коминтерна. Сплошь выходцы из мелкобуржуазной среды, без связи с рабочим классом какой бы то ни было страны, без революционного закала, без серьезной политической подготовки, эти безличные чиновники Коминтерна, всегда покорные последнему циркуляру, стали поистине би-

чом международного рабочего движения. Иные из них, потерпев аварию на своем пути, заигрывали временно с оппозицией. И в статьях и в письмах я не раз предостерегал своих единомышленников против подобных господ. И вот оказывается, что как раз этим коминтерновским комиссионерам я вдруг сразу с первого свидания или даже заглазно, доверил самые сокровенные свои планы по части террора, а заодно и свои связи с гестапо. Нелепо? Но в том то и дело, что другой среды, из которой я мог бы за границей вербовать "террористов", ГПУ не нашло. А без отправки мною эмиссаров из-за границы мое участие в терроре сохраняло бы слишком отвлеченный характер.

Одна бессмыслица влечет за собою другую: агентами гестапо оказываются, как на подбор, пять еврейских интеллигентов (Ольберг, Берман, Давид, два Лурье)! Достаточно известно, что широкие круги еврейской интеллигенции, в том числе и в Германии, поворачивались в сторону Коминтерна не из интереса к марксизму и коммунизму, а в поисках опоры против агрессивного антисемитизма. Это понять можно. Но какие политические или психологические мотивы могли толкнуть пять русско-еврейских интеллигентов вступить на путь террора против Сталина... в союзе с Гитлером? Сами обвиняемые тщательно обходили эту загадку. Вышинский тоже не ломал над ней своей головы. Между тем она заслуживает внимания. Мною лично руководила "жажда власти". Допустим! Но какие чувства двигали этими пятью незнакомцами? Они то во всяком случае собирались отдавать свои головы. Во имя чего? Во славу Гитлера?

Однако, и мотивы Троцкого вовсе не так ясны, как хочется думать Приттам, Розенмаркам и остальным заграничным адвокатам советского прокурора. Выходит, что из "ненависти" к Сталину, я делал как раз то, в чем Сталин больше всего нуждался.

С 1927 года я не десятки, а сотни раз предупреждал о том, что логика бонапартизма будет побуждать Сталина пытаться подкинуть оппозиции военный заговор или террористический акт. С момента приезда в Константинополь я многократно по-

вторял и политически обосновывал эти предупреждения в печати. Зная таким образом заранее, что Сталину до зарезу нужны покушения на его "священную особу", я занялся поставкой таких заговоров; на роли исполнителей я выискивал случайных и заведомо ненадежных людей; в качестве союзника я выбрал Гитлера; в агенты гестапо я определял евреев; чтоб сотрудничество мое с гестапо не осталось, упаси боже, под секретом, я рассказывал о нем направо и налево. Словом, я делал как раз то, чего требовало от меня воображение среднего провокатора ГПУ.

В МЕКСИКЕ

9 января, жарким тропическим утром, наш танкер входил в гавань Тампико. Мы все еще не знали, что нас ждет впереди. Наши паспорта и наши револьверы оставались по-прежнему в руках полицейского фашиста, который и в территориальных водах Мексики поддерживал режим, установленный норвежским "социалистическим" правительством. Я предупредил полицейского и капитана, что мы с женой высадимся добровольно лишь в том случае, если нас встретят друзья: у нас не было ни малейшего основания доверять норвежским вассалам ГПУ, под тропиками, как и на параллели Осло. Но все уладилось благополучно.

Вскоре после остановки танкера к нему подошел правительственный катер с представителями местной и центральной власти, с мексиканскими и иностранными журналистами и, главное, с верными и надежными друзьями. Здесь были: Фрида Ривера, жена знаменитого художника, которого болезнь удержала в клинике; Макс Шахтман, марксистский журналист и близкий единомышленник, посещавший нас ранее в Турции, во Франции и в Норвегии; наконец, Жорж Новак секретарь нью-йоркского "Комитета защиты Троцкого".

После четырех месяцев заключения и изолированности, встреча с друзьями была особенно тепла! Норвежский полицейский, передавший нам, наконец, наши «паспорта и револьверы, со смущением наблюдал предупредительное отноше-

ние к нам со стороны мексиканского полицейского генерала. Покинув танкер, мы не без волнения вступили на почву Нового Света. Несмотря на январь, эта почва дышала теплом. Нефтяные вышки Тампико напоминали Баку. В отеле мы сразу почувствовали, что не знаем испанского языка. В десять часов вечера, мы, в предоставленном нам министром путей сообщения генералом Мухика, специальном вагоне, выехали из Тампико в столицу. Контраст между северной Норвегией и тропической Мексикой чувствовался не только в климате. Вырвавшись из атмосферы отвратительного произвола и изнуряющей неизвестности, мы на каждом шагу встречали гостеприимство и внимание. Нью-йоркские друзья оптимистически рассказывали о работе своего Комитета, о росте недоверия к московскому процессу, о перспективах контр-процесса. Общее заключение было таково, что надо как можно скорее выпустить книгу о судебных подлогах Сталина. Новая глава нашей жизни открывалась крайне благоприятно. Но... каково будет ее дальнейшее развитие?

Через окна вагона мы с жадным интересом наблюдали тропический ландшафт. У села Карденас, между Тампико и Сан Луис Потоси, два паровоза стали поднимать наш поезд на плато. Повеяло прохладой, и мы вскоре освободились от овладевшего нами в парной атмосфере Мексиканского залива страха северян перед тропиками. Утром, 11-го, мы высадились в Лечериа, маленькой станции перед столицей, где обняли Диего Ривера, прибывшего из клиники: ему прежде всего мы были обязаны нашим освобождением из норвежского плена. С ним было несколько друзей: Фриц Бах, бывший швейцарский коммунист, ставший мексиканским профессором; Гидальго, участник гражданской войны в рядах армии Сапата; несколько человек молодежи. В автомобилях нас доставили в полдень в Койоакан, предместье Мексики, где мы водворились в синем доме Фриды Ривера, с апельсиновым деревом в центре двора.

В благодарственной телеграмме президенту Карденасу, посланной еще из Тампико, я повторил, что намерен стро-

жайше воздерживаться от вмешательства в мексиканскую политику. Я не сомневался ни на минуту, что на помощь так называемым "друзьям" СССР в Мексику проникнут ответственные агенты ГПУ, чтоб всеми мерами затруднить мое пребывание в гостеприимной стране. Из Европы шло, тем временем, предупреждение за предупреждением. Да и могло ли быть иначе? Сталин рисковал слишком многим, если не всем. Его первоначальный расчет, основанный на внезапности и быстроте действий, оправдался только на половину. Мое переселение в Мексику резко меняло соотношение сил к невыгоде Кремля. Я получал возможность апеллировать к мировому общественному мнению. "Чем это кончится?" — должны были себя с тревогой спрашивать те, которые слишком хорошо знали хрупкость и гниль своих судебных подлогов.

Один признак тревоги в Москве бил в глаза: мексиканские коммунисты стали посвящать мне целые номера своей еженедельной газеты и даже выпускать специальные номера, заполняя их старыми и новыми материалами из водосточных канав ГПУ и Коминтерна. Друзья говорили: "Не обращайтесь внимания: эта газета пользуется заслуженным презрением". Я и сам не собирался вступать в полемику с лакеями, когда впереди предстояла борьба с их хозяевами. Крайне недостойно держал себя и секретарь Конфедерации Профессиональных Союзов, Ломбардо Толедано. Политический дилетант из адвокатов, чуждый пролетариату и революции, этот господин посетил в 1935 году Москву и вернулся оттуда, как полагается, бескорыстным "другом" СССР.

Доклад Димитрова на VII Конгрессе Коминтерна о политике "народных фронтов" — этот документ теоретической и политической прострации — Толедано объявил... самым важным произведением со времени Коммунистического Манифеста. С момента моего прибытия в Мексику этот господин клеветает на меня тем более бесцеремонно, что, в виду моего невмешательства во внутреннюю жизнь страны, заранее рассчитывает на полную безнаказанность. Русские меньшевики

были подлинными рыцарями революции по сравнению с подобными невежественными и чванными карьеристами. Среди иностранных журналистов сразу выделился мексиканский корреспондент Нью-Йорк Таймс Клукхон, который под видом интервью, несколько раз пытался подвергнуть меня полицейскому допросу. Нетрудно было понять, из каких источников вдохновлялось это усердие.

По поводу мексиканской секции Четвертого Интернационала я заявил печатно, что не могу нести никакой ответственности за ее работу. Я слишком дорожил новым убежищем, чтоб позволить себе какую-либо неосторожность. В то же время я предупреждал мексиканских и северо-американских друзей о том, что следует ждать совершенно исключительных мер "самообороны" со стороны сталинских агентов в Мексике и Соединенных Штатах. В борьбе за свою международную "репутацию" и власть, правящая клика в Москве не остановится ни перед чем, и меньше всего перед расходом в несколько десятков миллионов долларов на покупку человеческих душ.

Не знаю, были ли у Сталина колебания насчет постановки нового процесса. Думаю, что не могли не быть. Мой переезд в Мексику должен был, однако, сразу положить им конец. Теперь необходимо было во что бы то ни стало и как можно скорее заглушить предстоящие разоблачения сенсацией новых обвинений. Подготовка дела Радека и Пятакова велась еще с конца августа. Операционной базой "заговора" выбрано было на этот раз, как и следовало предвидеть, Осло: ведь надо было облегчить норвежскому правительству высылку меня из страны. Но в успевшие устареть географические рамки подлога включены были спешно новые, свежие элементы: через Владимира Ромма я стремился, видите ли, овладеть секретами вашингтонского правительства, а через Карла Радека я собирался снабжать Японию нефтью, в случае войны с Соединенными Штатами. Только за краткостью срока ГПУ не смогло организовать мне встречу с японскими агентами в мексиканском парке Чапультепек.

19-го пришла первая телеграмма о предстоящем процес-

се. 21-го я ответил на нее статьей, которую считаю нужным перепечатать здесь. 23-го начался в Москве суд. Опять, как в августе, мы пережили неделю кошмара. Несмотря на то, что после прошлого года опыта, механика дела была ясна заранее, впечатление морального ужаса скорее усилилось, чем ослабело. Телеграммы из Москвы казались бредом. Каждую строку приходилось перечитывать несколько раз, чтобы заставить себя поверить, что за этим бредом стоят живые люди. Некоторых из этих людей я знал близко. Они были не хуже других людей, наоборот, лучше многих. Но их отравил ложью, а затем раздавил тоталитарный аппарат. Они лгут на себя, чтоб дать возможность правящей клике оболгать других. Сталин поставил себе целью заставить человечество поверить в невозможные преступления. Опять приходилось спрашивать себя: неужели человечество так глупо? Конечно, нет. Но дело в том, что подлоги самого Сталина настолько чудовищны, что тоже кажутся невозможными преступлениями. Как убедить человечество, что эта видимая "невозможность" есть на самом деле зловещая реальность? Поединок ведется неравным оружием. С одной стороны — ГПУ, суд, печать, дипломатия, наемная агентура, журналисты, типа Дуранти, адвокаты, типа Притта. С другой стороны — изолированный "обвиняемый", едва вырвавшийся из социалистической тюрьмы, в чужой и далекой стране, без собственной печати и средств. И все же я ни на минуту не сомневался в том, что всемогущие организаторы амальгамы идут навстречу катастрофе. Спираль сталинских подлогов, уже успевшая захватить слишком большое число людей, фактов и географических пунктов, продолжает расширяться. Всех обмануть нельзя. Не все хотят быть обмануты. Французская "Лига прав человека" со своим девственным президентом Виктором Баш способна, конечно, почтительно проглотить второй и десятый процессы, как проглотила первый. Но факты сильнее патристического усердия сомнительных поборников "права". Факты проложат себе дорогу.

Уже в течение судебного разбирательства я передал печати ряд документальных опровержений и поставил мо-

сковскому суду ряд точных вопросов, которые сами по себе разрушают важнейшие показания обвиняемых. Однако, московская Фемида не только завязала себе глаза, но и заткнула ватой уши. Я не рассчитывал, разумеется, на непосредственное широкое воздействие своих разоблачений: мои технические возможности для этого слишком ограничены. Ближайшая задача состояла в том, чтоб дать фактическую опору мысли наиболее проницательных людей и пробудить критику или, по крайней мере, сомнения у следующего слоя. Овладев сознанием избранных, правда будет разворачиваться шире и шире. В конце концов спираль правды окажется сильнее спирали подлога.

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА
**БОРЬБА В КРЕМЛЕ —
 ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА**

Одновременно с американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 г. "Время и мы" выпускает книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов"

СОДЕРЖАНИЕ

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
 КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
 ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
 В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
 ПОХОРОНАМИ**

ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО

ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ

**ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
 ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
 В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?**

КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
 ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ**

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена по предварительным заказам — 14 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We

475 Fifth ave, suite 511-A

New York, New York 10017

ЧИТАТЕЛИ О ЖУРНАЛЕ:

МЫСЛИ, ОЦЕНКИ, СУЖДЕНИЯ

Некоторое время назад редакция обратилась к ряду читателей с просьбой высказать мнение о журнале и его публикациях. В этом номере мы печатаем читательские письма, авторы которых высказывают свои оценки и пожелания журналу.

Уважаемый Виктор Перельман!

Я получил Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о пожеланиях журналу. Однако, прежде, чем высказать пожелания, нужно написать о своем отношении к нему. Прежде всего — это "мой" журнал. С тех пор, как "Новый мир" Твардовского разгромили, у меня не было журнала, который бы я ждал, высчитывая вероятную дату получения и открывал бы с нетерпением.

Чем же больше всего мне нравится ваш журнал? Трудно сказать точно. Может быть, оттенком грусти: "У них здесь хорошо, а у нас там плохо". Может быть, читая журнал, я чувствую себя ближе к друзьям, которые остались в Москве. Может быть, я чувствую, что и здесь где-то (может быть, близко) — еще есть люди, с которыми я мог бы подружиться. Может быть, просто хорошим, чистым и современным литературным языком. Может быть, объективностью оценок, отсутствием пропагандистских преувеличений. Трудно ска-

зать, что именно — "больше всего". Но все, взятое вместе, делает журнал мне близким.

Вы спрашиваете о пожеланиях журналу. — Только одно: выжить! Выжить, сохранить лицо. Это очень трудно. Ведь "новые"-то не приезжают больше. А "старые" все больше переходят на чтение английских, американских, израильских и еще каких-то журналов. А "старые" — все старше, и все, чем живет журнал, становится для них менее и менее актуальным, вытесняется интересами сегодняшнего дня. Нашим детям все это скучно уже. Да и читать по-русски им труднее, чем по-английски. Боюсь я, что ваш журнал ждет тяжелое время (Или оно уже наступило?). Не ждите от меня советов. Вы знаете свое дело лучше, чем я. Да и что бы я мог посоветовать?

Несколько слов о себе, чтобы вы знали, кто пишет. Цыкин Евгений Николаевич. Сын Лидии Феликсовны Кон, которую вы, возможно, немного знали. Она много лет была редактором в Детгизе, сама писала, член ССП.

Я — 1925 года. Больше 20 лет работал в Институте Географии АН СССР. Старший научный сотрудник. Там — гляциолог. Здесь — гидролог. Теперь занимаюсь математическим моделированием нелинейных процессов. Интересная работа. Социальное положение то же, что и в Москве: "ученый еврей при губернаторе". Все в порядке.

Искренне Ваш,

Е. Цыкин,

Австралия

Здравствуйте, уважаемый Виктор Перельман!

Вчера получила новый номер "Время и мы". И почти ночью (после часа ночи) я стала читать Вашу статью "О теле и духе", или о нашей эмиграции".

Мысленно я разговариваю с Вами давно, с Италии, последнее время спорю. В своей статье Вы не прямо, но косвенно касаетесь темы: "А что мы все здесь делаем?" "И вот мне захотелось написать вам о том, что всколыхнула во мне статья.

Скажу сразу, что и я, и мой муж относимся к Вам с уважением за все то, что Вам удалось здесь сделать, за ваше личное мужество, за то, что многие сдались, а Вы еще сопротивляетесь и пытаетесь отстаивать свое. Что?

И тут мы переходим к Вашей статье.

Вы пишете о бездуховности "нового американца". Что же тут нового? Правда, что все зарабатывают деньги, некоторые их вкладывают (инвестируют). Весь вопрос только в том, какое место занимает это в их жизни, что еще их занимает и волнует, что болит. Люди, о которых Вы пишете, не принадлежали к интеллектуальной элите и там. Большинство из них — или узкие технари (ругательно — инжэнэра) или, извините, "лавочники". Были ими там, остались ими и здесь. Хотя многие из них — хорошие люди. Смеем заметить, что те, кто принадлежал к интеллектуально-духовной группе, и здесь остались сами собой. Чтобы не быть голословной, приглашаем Вас к нам в гости, в Хьюстон. Нам давно хотелось это сделать, а Вам может оказаться неинтересным. Узкий круг наших друзей принадлежал там к этой группе и здесь сохранил эту духовность. Хотя принято считать, что Хьюстон — это Клондайк, где только и делают, что зарабатывают деньги.

Теперь об американцах. Думаю, что я знаю об американцах больше, чем многие американцы. По роду своей работы я много общаюсь с ними. И они с готовностью открывают мне не только свои кошельки, но и свои души. Они все разные. И проблемы у них разные. Их интеллектуалы такие же как наши, а лучшие из них — лучше наших. Меньше надрыва и больше понимания. Четыре американские семьи принадлежат к кругу наших близких друзей. Их способность к пониманию чужих проблем поражает.

Приезжайте и поговорите с каждым из них. Может стать для Вас интересным материалом. Их интерес к нашим проблемам неиссякаем (уж если это является мерилем хороших американцев или плохих). На моих глазах эти люди помогали друг другу и другим с привычной для нас русской щедростью.

Правда и то, что людей, близких вам по духу, созвучных

вам — немного. А много ли было их у вас в России? Если нашли сколько-то, то и слава Богу.

Теперь — о "списаниях" и "реситах". Списывая с налога, американцы имеют возможность помогать еще. Чтобы не заинтриговывать могу объяснить, почему я об этом знаю. В Ленинграде я была преподавателем английского языка, переводчицей в "Интуристе" и последние 5 лет преподавала английский "скоростным" методом, методом Лозанова. Т.к. мой муж — психолог и занимался отбором в эти группы, перед нами оказался довольно большой срез некой группы ленинградцев, по тем или иным причинам интересовавшихся английским языком. Группы, естественно, были нелегальные. Наблюдения над этой группой были крайне интересны (наш интерес к людям был и остался нашим главным интересом).

В Хьюстоне я работаю в большой страховой компании. В 83-м году была № 3 по всей Америке в нашей компании. Пытаюсь остаться человеком, что не легко — профессиональная "вредность". Но она у меня была и там. Чем я сама объясняю свой успех? Пониманием людей, интересом к ним, умением проникнуться их проблемами и найти нужные им (а не мне) решения. И еще — знания. Все эти годы я сдаю экзамены и сейчас — на полпути к получению степени в финансовом планировании. Для чего я все это Вам пишу? По Вашей статье, я и есть этот самый "американский новый класс" (кстати, что это такое?). Но — все не так. В отличие от описанных Вами людей, я и раньше и сейчас избалована американским вниманием и пониманием, а уж об их готовности помочь, могу писать романы (но писать, как Вы уже успели заметить, я не умею). Но моим американским друзьям пришлось решать еще одну проблему: из положения "не на равных" мы перешли в положение "не на равных", но уже со мной наверху. К чести моих американских коллег и друзей, они проявили достоинство и "класс", за которые мы их уважаем еще больше.

Теперь о ментальности. Думаю, что ментальность у нас тоже меняется. А хорошо это или плохо — зависит от точки отсчета.

Поскольку Вы в своей статье восклицаете: — Да и что мы вообще знаем о жизни "нового класса"?!, я и написала Вам это письмо. Будем рады продолжить разговор в любой удобной для Вас форме.

Забыла заметить, что "инвестменты" и финансовое планирование меня интересуют только профессионально. В моей личной жизни это почти не занимает никакого места.

С большим уважением.

Дина Вильдгрубе

Хьюстон, Техас

Уважаемый господин редактор!

Несколько слов относительно пожеланий вашему журналу. Двумя публикациями Джеймса Джойса с великолепной вступительной статьей И.Шамира и рассказами И.Зингера вы уже выполняете то, что хотелось попросить: публикуете хорошую иноязычную литературу, не переводившуюся на русский.

С нетерпением жду и того, что вы обещали в ближайших номерах, а также статьи о культурных событиях в СССР.

С наилучшими пожеланиями,

Ф.Детинко,

Флорида

Уважаемые господа!

В номере 80 вы опубликовали перевод главы из "Улисса". Мне доставило подлинное наслаждение не только читать сам перевод, но и сравнить его с подлинником. Израэль Шамир — превосходный переводчик. Пожалуйста, сообщите, возможно ли заказать перевод всего "Улисса" под редакцией Шамира. Если это невозможно, может быть, вы будете продолжать публикацию переводов. Кроме того, известны ли вам другие переводы Израэля Шамира. Пожалуйста, сообщите.

С уважением,

Илья Крейнин,

Бруклин, Нью-Йорк

Уважаемый Виктор Перельман!

Я люблю ваш журнал, читала его еще в СССР, но нерегулярно. Необходимо наладить какую-то почту, если у вас есть там люди, готовые организовать чтение журнала хотя бы среди своих знакомых. Если журнал будет достаточно аккуратен при подборе материалов, советские власти не смогут "пришить дело" тем, кто его будет иметь. Мои знакомые и друзья любили "Время и мы" именно за чисто литературную направленность. Чистой антисоветчиной, которую, к сожалению, так любит "Русская мысль", сейчас никого не увлечешь. Пропаганда так надоела всем, что даже антипропаганда уже не воспринимается.

Всего доброго Вам и Вашему журналу.

С уважением,

Ирина Гривнина,

Амстердам, Голландия

Уважаемый Виктор Перельман!

Что касается содержания журнала, мое основное пожелание: продолжайте в том же духе, оставайтесь самими собой, то-есть "беспартийными": партийных и без вас слишком много. Я жду от вас хорошей литературы (хотя, если речь идет о "сегодняшней", то это явно непросто), информации — исторической и прочей, нетривиальных мнений, разных взглядов, но не проповедей на тему (и на уровне) "дважды два — четыре" и "коммунизм — зло". Это пели мы и не раз.

В частности, я с большим интересом всегда читаю "Письма" Вл.Шляпентоха и жду новых. Думаю, что осмысливать нашу "новую родину" не менее для нас интересно и важно, чем то, что мы все видели когда-то на "старой" (А ежели не понимали то, что видели своими глазами и чувствовали шкурой — то, думаю, сейчас и подавно не поймем).

То же касается, конечно, и "исторической родины". Мне кажется, что "Время и мы" несколько утратил к ней интерес с переездом, оставив, в основном, лишь "колонку Цирюльникова", вроде, как для подачки. (Куда делся, скажем, Наф-

тали Прат? Прострафился?) И дело даже не в том, что, вероятно, большинство ваших читателей — евреи и, следовательно "должны" интересоваться Израилем (большинство, наверное, и в самом деле, интересуется), и не в том, что на титуле у вас "Нью-Йорк — Иерусалим — Париж" (хотя и это, конечно, обязывает), а в том уже одном, что в Израиле действительно происходят очень важные и интересные события, социальные явления, процессы, о которых хочется знать больше изнутри, а не из недельных обзоров русско-нью-йоркских специалистов. Найти людей, которые способны были бы эти процессы осмыслить, анализировать для вашего журнала, я думаю, не должно быть очень сложно. (Я ничего не имею против Цирюльникова, но думаю, что его одного — мало). У меня рацпредложение: переведите и опубликуйте "Promise and Fulfilment" Артура Кестлера. Предлагаю потому, что знаю Ваше почтительное к нему отношение и потому, что среди многих его блестящих книг, эта — одна из лучших и важнейших. К тому же, и одна из наиболее забытых, как ни странно (впрочем, не странно, если знать историю). Эта книга — мемуарно-публицистическая, об истории и предыстории создания Израиля, написанная не задним числом, а прямо "с поля боя" (в т.ч. и в прямом смысле). В отличие от Лубянки, которую А.К. неплохо "угадал" (зная коммунистов, тюрьмы Франко и Виши, и немного "волю" в СССР 30-х годов), материал этой книги он знал досконально. Он сам был активным участником и журналистом в то время и в том месте. Он был также секретарем Жаботинского и его учеником (до компартии), был киббуцником (после оной), был личным другом или хорошо знал многих главных "действующих лиц"... В общем, книга ценнейшая, и блестящая по глубине анализа (А.К., как всегда, прежде всего философ), и увлекательнейшая: не оторвешься...

Не менее интересны и его философско-политические эссе (в том числе и очень интересное большое эссе о природе Сов. режима), и его автобиографический-публицистический-философский цикл "The Arrow in the Blue", "The Invisible Writing". И проч., и проч...

Эти публикации были бы важны не только и, может быть, не столько, с точки зрения интересов вашего журнала, сколько важности для русских читателей, особенно в СССР, знать Кестлера.

Я лично считаю, что знать его не менее важно, чем, скажем, Солженицына, — и особенно для тех, кто Солженицына уже знает.

Из других кандидатов для перевода могу посоветовать Эрика Фромма и Бертрانا Рассела. У него много интересных статей, эссе, книг, совершенно незнакомых русским читателям. Объединяет этих авторов та самая нетривиальная, глубокая, но никогда не снобистская мысль — а у Бертрана Рассела обычно и парадоксальная. А ведь это самое ценное и редкое в наше наковозь "партийное" время особенно конечно для бедного русского или русско-еврейского человека, изнасилованного "партиями", так сказать, с обеих сторон.

Ну вот, пожеланий, пожалуй, достаточно. Всего вам наилучшего — и лично и журналу!

Симон Натис,

Нью-Йорк

ХУДОЖНИК И ВСЕЛЕННАЯ

Не так-то просто определить жанр, темы или, скажем, живописные средства художника, которого мы представляем читателям в этом номере. Как заметил один из критиков, любое формальное совершенство вызывает у Леонида Сокова ироническую улыбку. Для него "хороши все средства, все материалы, лишь бы они давали возможность наиболее полно выразить идею", или, выражаясь языком самого художника, выразить "мифы".

По мнению Леонида Сокова, художник не должен иметь запретных областей, жанровых или тематических границ. В сфере его интересов — вся Вселенная, во всем ее бесконечном многообразии. Но только на явления жизни он не должен смотреть глазами политика, журналиста или социолога. Художник не мыслит без своего особого, художественного чутья и своего образного видения мира. Предлагая вниманию зрителя то или иное явление, точнее образ этого явления, так как он его видит, Леонид Соков заставляет зрителя размышлять, переживать, сопоставлять, делать выводы, причем нисколько не навязывая своей точки зрения. У искусства свой путь к человеку, считает художник, и сам в каждой своей работе старается идти этим особым, нетривиальным путем.

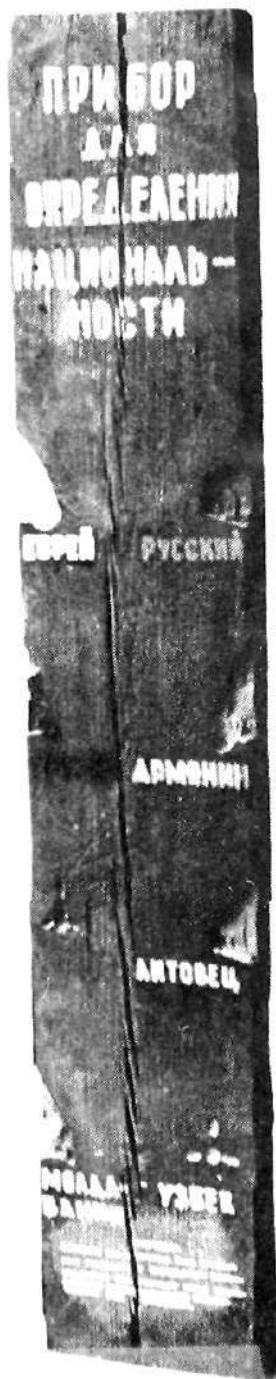
Леониду Сокову 45 лет, а позади у него уже богатая творческая биография, он — участник Биеннале в Венеции, выставок в Лоди, Милане, Турине (Италия), Белинзоне (Швейцария), Бохуме (ФРГ). Однако, Соков работает с таким азартом, с таким желанием открывать новые материи в искусстве, что, кажется, свои главные задачи он считает еще невыполненными. Вот и в этом вернисаже — снова неожиданное решение: скульптурная серия — "водители": Хрущев, Брежнев, Андропов... Хрущев, на плечах которого стоит автор, — самодвижущаяся игрушка. В облике игрушек и другие водители — поистине поражающие новизной и остроумием решения!

Мастерство художника в сочетании с блеском его фантазии внушает уверенность, что он и дальше пойдет своими, неизведанными путями. Леонид Соков — художник неустанного поиска, и это, может быть, главное, что приносит ему успех.

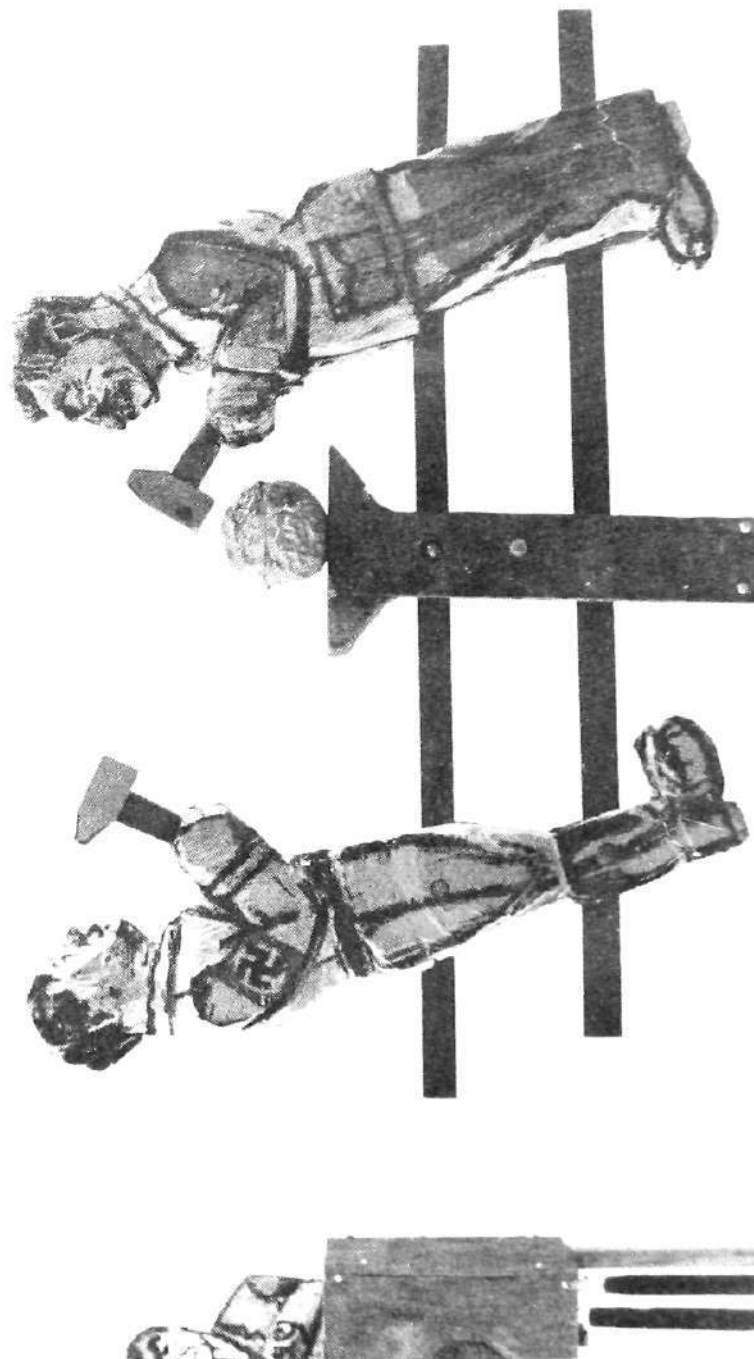
В. ПЕТРОВСКИЙ



Автор и Хрущев



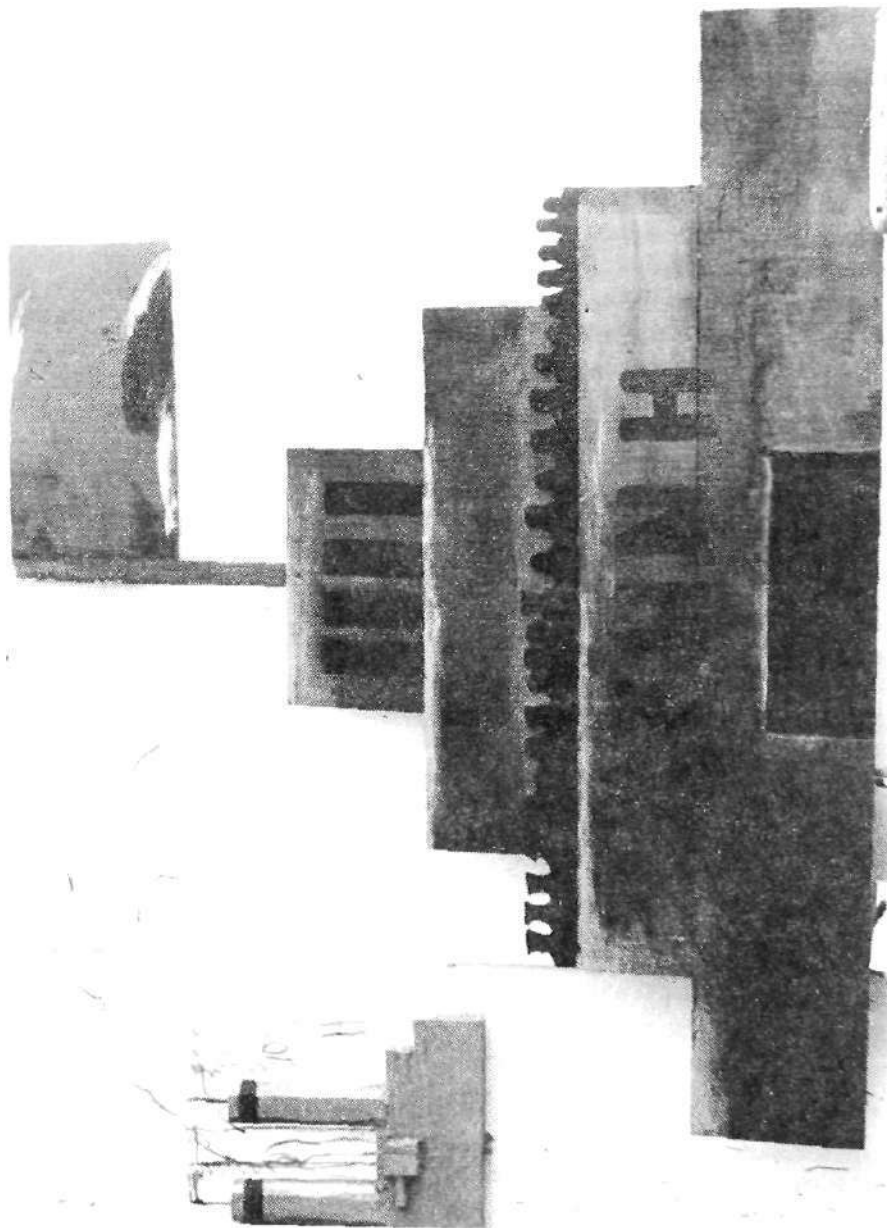
Прибор для определения национальности



Сталин и Гитлер. Из серии "История СССР"



Андропов. Из серии "Вожди".



Очень красиво

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ — родился в 1948 году в Саратове. До эмиграции жил на Украине. Работал учителем и переводчиком технической литературы. В 1972-73 годах опубликовал в журнале "Смена" первые подборки стихотворений. После эмиграции из СССР выступал в русских зарубежных журналах "Синтаксис", "Ковчег", "Время и мы", "22", "Континент". Автор сборника повестей и рассказов "Альбы и серенады" (РР-Пресс, Лондон). В настоящее время живет в Англии.

ЗИНОВИЙ ЗИНИК — родился в 1945 году в Москве. Изучал живопись, топологию, фехтование и театр. Образование получил в литературном кружке А.Асаркаиа, П.Улитина и Ю.Айхенвальда.

Эмигрировал в 1975 году. В течение двух лет был режиссером русского театра — студии при Иерусалимском университете. Сейчас живет в Лондоне и зарабатывает на жизнь театральными рецензиями. Автор повестей и романов "Извещение" ("Время и мы", ном. 8), "Уклонение от повинности" ("Время и мы" № 69), "Руссофобка и фунгофил" ("Время и мы", №№ 82-84), "Русская служба" вышла отдельной книгой в издательстве "Синтаксис", "Перемещенное лицо" — в издательстве "Руссика". Издательство "Альбин Мишель" (Париж) выпустило переводы романов "Перемещенное лицо" и "Русская служба".

МАРК ГИРШИН — родился и вырос в Одессе. Впервые опубликовался только после эмиграции на Запад, в 1974 году. В Израиле вышел его роман "Брайтон Бич", а в издательстве "Эрмитаж" в 1983 году — повесть "Убийство «мигранта»". В рецензии на другую его повесть "Секретарюк против главинжа" Марк Поповский писал: "Гиршин учил детей истории и 20 лет писал книги, которые не могли быть изданы в СССР... Теперь русскоязычный читатель может убедиться — в эмиграции родился серьезный писатель".

МИХАИЛ КРЕПС — родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ. Работал преподавателем английского языка и литературы в институте имени Герцена. В СССР не печатался. Эмигрировал в 1974 году. Широко печатается в русскоязычной прессе. Живет в США, где преподает русский язык и литературу.

ЕФИМ МАНЕВИЧ — родился в 1937 году. По профессии инженер-электронщик. Окончил Московский Энергетический институт. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 году репатриировался в Израиль. В настоящее время живет в США.

ВЕРА ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ — родилась и выросла во Франции. В Америке с 1949 года. Окончила Бруклинский колледж и Колумбийский Университет. Защитила докторскую диссертацию по славистике. В настоящее время — профессор славистики и советологии Сити-колледжа (Нью-йоркский городской университет). Автор четырех книг по русской и советской литературе. Вице-президент Всемирной ассоциации по культурным связям, куда входят 67 стран.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА — родилась в 1927 году в Евпатории. Окончила исторический факультет МГУ. Работала в исторической редакции издательства "Наука" АН СССР, а затем научным редактором института информации по общественным наукам АН СССР. Активно участвовала в правозащитном движении со времени его зарождения в 1968 году, организуя помощь политическим заключенным. Была одним из редакторов "Хроники текущих событий" (с 1968 по 1977 год) и одним из основателей Московской Хельсинкской группы. Эмигрировала в феврале 1977 года и с этого времени была представителем Московской Хельсинкской группы на Западе. Живет в США.

ШИМОН МАРКИШ — сын выдающегося еврейского поэта Переца Маркиша, погибшего в сталинских застенках. Родился и вырос в Москве. Получил филологическое образование. В настоящее время живет в Швейцарии, профессор классической филологии. Широко выступает в Западной печати.

ЕФИМ МАЙДАНИК — родился в 1939 году, по образованию инженер-механик. С 1965 года занимается также переводами с английского. В 1975 году репатриировался в Израиль. С 1977 по 1982 год работал в русской службе Би-би-си. Сейчас живет в Иерусалиме, пишет для русскоязычных журналов.

Digest for the 87th Issue of "VREMYA I MY" (Time and We)

IGOR POMERANTSEV, "Do You Hear Me?"

A radio play about one of the K.G.B. bugging offices. The author describes how with the help of surveillance and wire tapping the Soviet Secret police penetrates the private lives of Soviet writers and forces some of them to work for the K.G.B.

ZINOVI ZINIK, "Edipus Stalin"

A pointed political satire. The story is told through the eyes of a youth, who imagined his father to be Stalin, and went mad on account of this.

MARK GIRSHIN, "Divorce"

A story about a life of a Soviet teacher. The gloomy day to day life of a Soviet professional school is portrayed and very accurate characteristics are given to those, to whom the Soviet youth is entrusted in the U.S.S.R.

MIKHAIL KREPS, "A Million Spectacles"

Contemporary poetry.

TATIANA FILANOVSKAYA, "The Coming of Age"

Lyrical Poetry.

YEFIM MANEVICH, "The New Emigration: Hearsay and Truth"

A futurological essay about the possibility of renewed emigration of Jews from the Soviet Union.

VERA WIREN-GARCZINSKI, "The Gorbachev Couple, Through the Eyes of a Journalist"

Notes by a journalist present at the Geneva conference. An attempt to paint a socio-psychological portrait of Mikhail and Raisa Gorbachev. Gorbachev as a representative of the new generation of Soviet leaders grown out of the Party.

LUDMILA ALEKSEEVA, "Socialists in the Soviet Undergroud"
Excerpts from the book "The History of Dissent in the U.S.S.R." About the persecution of those who try to live by the principles of democracy and socialism with a human face.

VICTOR PERELMAN, "About Liberals in the Soviet Ruling Class"

A commentary to Ludmila Alekseeva's article. The author shows how the Soviet Party apparatus attempts to eliminate democratic manifestations from their ranks.

SHIMON MARKISH, "How Far Has G.Svirsky Gone?"

Y.MAIDANIK, "How It's Done, or Shimon Markish Edits Himself"

A debate about Grigory Svirsky's book "Breakthrough", dedicated to the Jewish emigration.

NADEZHDA LEVINSKAYA, "Saga About Welfare"

Notes of a social worker about social aid in America, about its democratization ,its pluses and minuses.

LEON TROTSKY, "Why They Repented"

Excerpts from the book "Stalin's Crimes". Trotsky's views from exile on the 1937 show trial. (Edited by Y.Felshinsky). Conclusion, part 1 in No. 86.

Overseas Publications Interchange Ltd

Сергей СОЛДАТОВ

Зарницы возрождения. Опыт политической борьбы
и нравственного просветительства
Предисловие А.Авторханова.
Вступительная статья Мартина Дьюхерста
464 с. — 10 ф.ст.

Жорж НИВА

Солженицын. Перевод с французского С.Маркиша
в сотрудничестве с автором
248 стр. Альбом фотографий и библиография
8 ф.ст.

Михаил ГЕЛЛЕР

Машина и винтики. История формирования
советского человека
320 стр. — 8 ф.ст.

Дора ШТУРМАН

Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина
и Троцкого
380 стр. — 9 ф. ст.

Анатолий ФЕДОСЕЕВ

О новой России. Альтернатива
335 стр. — 7.50 ф.ст.

Феликс РОЗИНЕР

Некто Финкельмайер
600 стр. — 6 ф.ст.; в мягком переплете — 7.50 ф.ст.
в твердом
Книга удостоена премии им.Даля за 1980 г.

КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВО ВСЕХ РУССКИХ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:
OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
8, QUEEN ANNE'S GARDENS, LONDON
W4 1TU, ENGLAND

Overseas Publications Interchange Ltd

Владимир ВОЙНОВИЧ

Трибунал. Судебная комедия в 3-х действиях.
Юмор и сатира на высоком художественном уровне.
76 стр. — 2 ф.ст.

Вольфганг ЛЕОНГАРД

Революция отвергает своих детей
590 стр. — 7 ф.ст.

Михаил ВОСЛЕНСКИЙ

Номенклатура. Господствующий класс Советского
Союза. Предисловие Милована Джиласа
556 стр. — 12 ф.ст.

Ален БЕЗАНСОН.

Русское прошлое и советское настоящее
Перевод с франц. А.Бабича. Предисловие М.Геллера
388 стр. — 7 ф.ст.

Вадим ДЕЛОНЕ

Портреты в колючей раме.
Предисловие В.Буковского. 217 стр. — 4.50 ф.ст.
Книге присуждена премия им.В.Даля за 1984 г.

Павел ТИГРИД

Рабочие против пролетарского
государства. Соппротивление в Восточной Европе
со смерти Сталина до наших дней
Перевод с французского В.Рыбакова.
176 стр. — 4 ф.ст.

Евгений НИКОЛАЕВ

Предавшие Гиппократа
328 стр. — 8 ф.ст.
Книга представляет собой ценное свидетельство о
злоупотреблении психиатрией в борьбе с
инакомыслящими

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 48 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 55 долларов; для библиотек — 66 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

Time and We
415 Fifth Ave., suite 511-a, New York, New York 10017

Цена в розничной продаже — 10 долларов

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот Мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 550 франков; для библиотек — 650; с целью экономической поддержки журнала — 650 франков;
— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 200; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 96 долларов.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии. Англии. Франции и других стран чеки могут высыпаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. и высылается по адресу "Time and We"

475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

OCR и вычитка — Давид Титиевский, май 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Первую страницу обложки оформил Вагрич Бахчанян.

На четвертой странице обложки: Леонид Соков
"Брежнев на трибуне". Из серии "Вожди"

